

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

Повесть о двух городах От Москвы до самого Чикаго: опыт самосоциологии домовладения¹

Эпические сказания положено начинать здравицами славным пращурам, богатырям прежних времен и мудрым наставникам. Братья Бенедикт и Перри Андерсоны наставили меня, среди прочего, в умении не робеть перед формальным каноном, ныне утвердившимся в профессиональной науке. Так оказалось опубликовано это длинное и изначально личное письмо, написанное по-английски, затем появившееся в переводах на турецкий и испанский, и, наконец, на родном русском. Мыслимо было вообразить эдакую траекторию в, казалось бы, недавние студенческие годы, когда работы Андерсонов приходилось читать украдкой в спецхране ИНИОНа? Неожиданное щедрое напутствие Пьера Бурдьё, признаться, многого стоило в самые отчаянные годы, когда махина западной социальной науки виделась горделиво неприступной. Суровый Артур Стинчком, чьи беспощадные заметки на полях немало ученого люду повергали в трепет, обучил меня держать удар дубиною методологии. Наконец, упомяну благодарственно и Чарльза Тилли, растолковавшего, что моя вольная проза, оказывается, есть вариация передового жанра социологии, который Тилли окрестил «мотивированным нарративом». Проще говоря, повествование, в котором действия героев-субъектов сопряжены посредством передаточных социальных механизмов с условиями окружающей среды и пояснением ключевого для социолога вопроса: «Почему?» По крайней мере для людей, выросших в современной культуре, повествовательный жанр остается и наиболее доходчивой формой анализа социальных систем и сетей взаимоотношений. (Если последняя фраза показалась Вам, дорогой читатель, не самой доходчивой — без стеснения перескочите через нее и все подобные ей выражения, относя подобные выкрутасы на счет профессионального колорита сродни какой-нибудь моряцкой бом-брам-стенгье.)

Как во всяком сказании, у нашего повествования долгая предыстория, которая берет начало, натурально, в Мозамбике на берегах Замбези. Чтобы

¹ Авторизованный и развернутый перевод Georgi Derluguian. A Tale of Two Cities (The Adventures in Globalization). *New Left Review*. 3 (May-June) 2000. Pp. 47–71.

внести задаток за дом в Чикаго, пришлось продать свою валютную, кооперативную, четырехкомнатную квартиру в Москве. Сие баснословное жилище во всех смыслах досталось изрядной ценой. Однако нам так никогда и не довелось пожить в нем. Итак,

Часть первая — Московская квартира

Не секрет, что в поздне-советские времена несение интернационального долга в Африке оплачивалось весьма щедро. Даже стажерам-переводчикам, вроде меня, платили в инвалютных чеках «Березки» раз в пятнадцать-двадцать больше средних зарплат по СССР. В том, несомненно, была одна из причин бездумного расширения советской помощи странам Третьего мира: служивый народ, в погонах или без, даже помимо всякой идеологии и державного порыва, имел свой кровный интерес в поддержке социалистической ориентации. Как во многих империях, расширением сфер влияния подчас двигала элементарная ведомственная интрига, направленная на создание должностей и кормлений.

Взгляните на старую фотографию членов Политбюро и попробуйте на этих одинаковых начальственных лицах, от Алиева до Щербицкого, отыскать хотя бы тень озабоченности проблемами марксизма и мировой революции. Равно как идеологическое, натянуто выглядит и геополитическое объяснение. Как-то в посольстве СССР в Мапуту, на комсомольском собрании (для дипломатической конспирации называемом «клубом молодых физкультурников»), один озорник из задних рядов спросил нашего посла-батюшку, а зачем все-таки Родине нужно было тратить помощи на полтора миллиарда долларов за истекшую пятилетку только на Народную Республику Мозамбик? Посол по-отечески разъяснил, что нам, молодым, геополитические расчеты не близки, потому как требуется с его пожить и (железный аргумент бюрократии) «владеть полнотой информации». Но, добавил посол уже грозно, через четырнадцать лет истекает международный договор по Антарктиде и, уж попомните, империалистические державы давно готовятся к разделу ледового континента, потому что там по совсекретным данным минеральных запасов — вся таблица Менделеева! Потому нашей социалистической Родине требуется загодя держать подлетный аэродром в Мапуту, на 28-м градусе южной широты. Мы обабдели от такой геостратегической загогулины, пока кто-то вконец оборзевший под африканским солнышком не заметил вслух: «А что, Родине вечной мерзлоты уже не хватает?» Читая сегодня в российских газетах алармистские сценарии геополитиков, не могу отделаться от подозрения, что это те же самые умы, что некогда подсказали послу идею колонизации Антарктиды через Мозамбик, только нынче, с поправкой на распад Союза, их тональность сменилась на тревожно-оборонческую, сродни гоголевскому «Ох, побьют нас турки!»

Первородную тайну советской экспансии на южноафриканском направлении раскрыл мне веселый пухлый счетовод Крупенин из Госплана (который, выпив вечером водочки, присаживался на скамеечку под пальмой на набережной им. Фредерико Энгельса, и заводил задушевно: «Ох, мороз, мороз, не морозь меня...»). В 1977 г. Крупенин одним из первых был десантирован

в страну, недавно освободившуюся от португальского колониального ига, и, по собственному признанию, насчитал такую сетку зарплат и всевозможных надбавок за вредность климата и прифронтовое положение, чтоб «ни самому, ни ребятам обидно не было». А как уж там на Политбюро это дело обосновали, счетовода Крупенина не касалось (добавлял он элегантно указанием на дискурсивно-политический уровень каузальности). С учетом высоченного курса доллара, который завернул в начале восьмидесятых президент Рейган, нам причитались и вовсе невероятные заработки, так что 15 числа каждого месяца, пощелкав калькулятором, Крупенин довольно хмыкал: «Не будь я коммунистом, ей-богу, всегда бы голосовал за этого собаку Рейгана!»

Вернувшись в Москву зимой 1985 года, я долго не мог войти в столичную жизнь времен позднего застоя. Она теперь казалась невыносимо нормальной. После Замбезии потребовались месяцы, чтобы научиться спать спокойным сном в кровати на чистых простынях и без оружия, не бояться наступить в траве на ядовитую мамбу, или запросто пить воду из-под крана. Каждым угрюмым московским утром приходилось опять втискиваться в переполненное метро и ехать в университет, где все те же бабушки-гардеробщицы даже не заметили моего отсутствия целый долгий год. «Че то я тебя на той неделе не видела, — приговаривали они с ворчливым сочувствием, выдавая номерок за куртку. — Приболел, что ли? Вон какой бледный-то». И как было им рассказывать, что вообще-то, да, болел малярией, паратифом, и чем-то, оставшимся неопределенным, а еще нескончаемые, как само бессезонное время в Африке, одиннадцать месяцев пробыл среди бандитской резни и настоящего голода, что видел, как трупик ребенка обглаживали тощие паршивые собаки, но об этом уже совсем не хотелось вспоминать. Война там оказалась совсем не как в кино. Только однокурсники, вернувшиеся из точек вроде Афганистана, Анголы или Камбоджи, понимали это без слов, так что в их компании было хорошо помолчать или поговорить на сугубо свои темы, вроде того, чем выгонять тропических глистов или малярию, чтоб не обращаться в поликлинику МГУ, а то ведь упекут в карантин на Соколиную гору.

Между тем, к пятому курсу, стараниями Крупенина и Рейгана, я стал необычайно состоятельным студентом, эдаким колониальным джентельменом-антропологом. Мог купить «Волгу» за наличные, и еще осталось бы на подарки из «Березки» всей родне. Но к чему машина, когда я по-прежнему жил в общежитии МГУ на улице Шверника — четыре парня в комнате. Так что оставалось всей компанией поглощать деликатесы ящиками, оправдывая свой гаргантюализм долгой голодовкой в Мозамбике, где и бананов-то не оказалось из-за катастрофической засухи, а офицерский паек состоял из 200 граммов кукурузного хлеба и превонючей сушеной рыбы. (Правда, на транспортных самолетах Ан-12 при возможности нам забрасывали отоварку из консервов и круп, и иногда мы стреляли антилоп в саванне, но там на выстрел могли ответить выстрелом местные бармаи.) Москва, конечно, снабжалась значительно лучше остальной страны. Так мы и предавались советскому чревоугодию застойных времен: чешское пиво, венгерские утята и вина, румынская салями, болгарские овощные консервы, югославские паштеты, финские сыры, кипрские соки, иракские финики, кубинские сигары, португальские сардины, маслины и портвейн.

В общежитиях Московского государственного университета я уже прожил более пяти лет, с тех пор как уехал из дома шестнадцати годов от роду. Общак составляла отдельный от Москвы мир, и он принадлежал нам. Но наступала пора получать дипломы и разъезжаться по свету. (Спустя несколько лет некоторые товарищи-общажники стали видными фигурами постсоветской политики и бизнеса, а иные и вовсе командирами где-то в Карабахе, Ингушетии или Приднестровье, либо более мирными парламентариями в не самом ближнем зарубежье вроде Эритреи, Ливана, Бразилии и Намибии). После хронически переполненного общежития, и по мере приближения дня выпуска из университета, мысль о том, что вместо «Волги» можно купить себе целую кооперативную квартиру, все более бередила воображение. Но — нет, нельзя! Первым же делом доброжелательная дама из Внешторгбанка довела до моего наивного сведения, что даже за совершенно законно приобретенную валюту я не смогу купить кооперативную квартиру без московской прописки.

По советскому обыкновению, я испробовал несколько способов обойти это глупое правило, с прежней наивностью взывая к здравому смыслу: «Ну, разве родному государству не выгодно продать мне обыкновенную квартиру по официальному фиктивно-обменному курсу 67 их центов за каждый наш советский рубль?» Искренняя готовность на такую инвалютную жертву в конце концов пала в столкновении с особо раздражительным ветераном из общественной приемной Моссовета. Костлявый, с глубоко запавшими глазами на испещренном старческими пятнами черепе, он смахивал на ходячего мертвяка из фильмов Стивена Спилберга. Одет ветеран был в некогда добротный двубортный костюм по моде сталинских времен, с красно-золоченым значком «50 лет в КПСС» на несуразно большом лацкане. Недослушав мои доводы, он поднялся, опираясь на стол, и провозгласил ехидным старческим фальцетом: «Товарищ... — или может *мистер*? В Москве может и полно таких вот богатеев, но если мы позволим всем им покупать особняки на улице Горького, что станет с нашими социалистическими ценностями?!» Оторопев от подобного взрыва классовой ненависти, я было повернулся к двери, как ветеран-партиец прошипел с мечтательной мстительностью: «В 1937 году я таких расстреливал». Яростная кровь бросилась мне в голову, и из меня попер собственный ветеранский синдром вперемежку, конечно, с ребячеством. (Орден Красной звезды я не получил потому, как весело разъяснил парторг посольства, что в наличии имелась разрядка только на посмертно, потому как в Мозамбике мы официально не воевали. Тут же предложив выпить по чарке «за то, что живы, а также в порядке профилактики малярийной плазмодии в крови», радушный парторг — дородный потноватый дядька, ранее руководивший в Донбассе легендарной шахтой им. Засядько — выдал мне грамоту со странноватой формулировкой «За высокое понимание интернационального долга и успехи в соцсоревновании». Ветеранство мое осталось только в крови.) Стоя теперь перед допотопным кадавром в приемной Моссовета и переживая несправедливость и непроходимую безнадежность своего положения, я дерзко пообещал, что еще неизвестно, кто кого пристрелил бы первым, и вообще-то я бы для такого дедушки и гранаты не пожалел. Верный сталинист, заходясь в кашле, пригрозил немедленно сообщить обо мне куда следует. И ведь наверняка сообщит, думал я, бредя от Моссовета к магазину «Армения», чтоб утешиться.

Все законные каналы были исчерпаны, и обойти закон о прописке у меня не было никакой возможности. Перспектива стать инструктором райкома комсомола или мелким сотрудником Госплана выглядела несносно тягостно, хотя, в принципе, намекали. Но ведь не вынесу! Хабитус, по Бурдые, не того калибра.

И тут, как шутят ученые, в цепочку структурной детерминантности вмешалось стохастическое чудо. Вообще-то, чудо всегда было неотъемлемой частью исторически недоинституционализованной российской действительности. Годом позже, уже из аспирантуры, я вернулся в Мозамбик дособирать материалов для диссертации по португальскому колониальному обществу и партизанской войне за независимость. На сей раз меня назначили переводчиком при неприметном человеке с обычной фамилией Вороненко. Он приехал для того, чтобы прочесть месячный курс о городском планировании и заработать свои законные инвалютные чеки. И все же, этот лысоватый и погрузневший от сидячей жизни чиновник как-то неумовимо отличался от большинства совспецов. Он не копил и не гонялся за японской электроникой. Напротив, у Вороненко обнаружилась страсть к коллекционированию макондовских скульптур из черного дерева, причем качественных и дорогих. Когда он выяснил, что я прошел в МГУ полный курс африканистики, наши внеслужебные отношения переросли в дни неторопливых бесед под тенистым деревом манго. Говорили об истории Мозамбика, африканской мифологии, ведовстве и всем таком прочем. Но в какой-то момент беседа неизбежно подошла к вопросу, как, в мои молодые годы, я собираюсь распорядиться небольшим инвалютным состоянием, откладывавшемся с каждой зарубежной зарплаты во Внешторгбанке.

Пока что это состояние в основном помогло мне отъесться после голодного года в Верхней Замбезии. Чеки также имели положительное воздействие на мою маму, которая стала относиться к занятиям африканистикой несколько терпимее. Первые пару лет моей учебы она попросту стеснялась говорить знакомым и соседям, что я изучал в Москве язык хауса (который мама произносила «хаоса»). Будучи весьма решительной женщиной из кубанских казачек, она как-то приехала в Москву и попыталась задобрить нашим краснодарским чаем чуть не весь деканат, чтобы меня помогли перевести домой в Краснодар. Мама всегда хотела, чтобы я занимался чем-то практичным и ближе к дому, выдвигался бы по партийной линии или шел в мединститут учиться на гинеколога. В первое свое возвращение из Мозамбика, я попросил в бухгалтерии посольства выдать мне расчет наличными – вышло 1813 специальных чеков, которые можно было использовать для покупок в валютных магазинах «Березка» (на черном рынке они стоили вдвое дороже обычных рублей). Для усиления пропагандистского эффекта я попросил выдать мне эту сумму мелкими купюрами, получив в результате несколько хрустящих пухлых пачек в банковских обертках, которые я рассовал по многочисленным карманам своих португальских камуфляжных штанов. (Камуфляж в те времена был для Москвы еще страшной экзотикой.) В извинение подобной бравады, я тогда еще даже не окончил пятого курса университета. Когда мама увидела, как я торжествующе вынимаю пачки чеков из невообразимых глубин своей экзотической формы, она только ахнула и добавила, что они с моим отцом за всю жизнь столько сразу не видели, хотя по-прежнему переживала, что я так исхудал.

Оказавшись во второй раз в Мозамбике и подружившись с Вороненко, я поведал ему и историю о живом трупе из Моссовета. Вороненко понимающе кивнул, написал свой телефонный номер на клочке бумаги и велел позвонить ему, когда вернусь в Москву. В течение последующих семи месяцев я время от времени задавался вопросом, кем бы мог быть товарищ Вороненко в обычной советской жизни? Он читал скромный курс о городском планировании, носил стоптанные сандалии и не самые элегантные штаны. Вороненко порой казался даже слишком простым. Он запросто мог усесться в красной латеритовой пыли вместе с африканскими резчиками по дереву и сам в качестве хобби увлекался плетением корзин. Но в то же время, я замечал, как ему пытались угодить обычно надменные дипломаты из нашего посольства, или как в Вороненко проявлялись вельможные наклон головы и интонация во время деловых бесед. Одно то обстоятельство, что он мог всерьез увлекаться африканским искусством и мифологией вместо выписки по каталогам потребительских товаров для посольств, наводило на мысли о скрытой от меня необычности статуса Вороненко. Его увлечения вполне соответствовали тому, что я к тому времени узнал о стилях потребления предметов высокой культуры среди более просвещенного крыла столичной номенклатуры. Социологом я становился стихийно, по мере уяснения реальных механизмов родного советского общества.

В кабинете товарища Вороненко

Итак, однажды зимним московским вечером, я позвонил по номеру, записанному Вороненко. Его жена узнала меня: «А, Вы, наверное, тот аспирант-африканист из Мозамбика, да? Не стесняйтесь, звоните ему на работу». Было почти десять вечера, Вороненко все еще сидел за рабочим столом: в принципе, еще один признак ответственного работника, которому приходится тянуть воз бюрократических планов, справок и согласований. Ответила мне явно пожилая секретарша, вовсе не принадлежавшая к типу щебечущих сексапильных кокеток, обслуживавших комсомольских вожаков или, позднее, новых русских бизнесменов. Строгим голосом завуча школы, она спросила: «Одну минутку, как доложить Вашу должность и организацию?» Вопрос совершенно застал меня врасплох. Я сумел лишь промямлить: «Э-э, Институт всеобщей истории АН СССР, м-младший научный...». Со страху, я глупо произвел себя из аспирантов до МНСа. В телефонной трубке почудилось надменное фырканье. Однако уже через минуту важная секретарша вновь переключилась ко мне и с некоторым удивлением сказала: «Товарищ Вороненко примет Вас завтра в 11.40. Пропуск заказан у второго подъезда». Тут я набрался отчаянной смелости и спросил: «Простите, а где находится второй подъезд? И, кстати, какую должность занимает сам товарищ Вороненко?» По ту сторону мне послышался глуховатый звук падения отвисшей челюсти об стол. Через секунду секретарша опомнилась и заорала: «Молодой человек! Управляющий делами Моссовета назначает Вам внеплановую встречу в свое личное время, а вы мне тут говорите, что не знаете к кому и куда идете?»

Дальше стало гладко. Внутри загадочное здание Моссовета оказалось состоящим из бесконечных коридоров, застеленных красными коврами

дорожками, и череды высоких, плотно закрывавшихся дверей в кабинеты. Серьезные дяди в костюмах с толстыми портфелями на коленях терпеливо ждали своей очереди в приемной Вороненко. Моя юная бородатая наружность была встречена с недоумением. Секретарша (по-видимому, другая) без задержки пригласила меня в огромный кабинет, обставленный предсказуемо монументальной номенклатурной мебелью, с массивными шторами и множеством телефонов на специальной подставке слева от стола из красного дерева. Мы уселись в глубокие кожаные кресла в углу и около получаса болтали о Мозамбике и плетении корзин. Я не напоминал ему о своих проблемах. Только в конце беседы, провожая меня к двери, товарищ Вороненко запросто предложил, чтобы я написал ему жалобу: «Как депутат Моссовета, я ведь должен реагировать на сигналы избирателей о бездушии бюрократов, не так ли?»

К этому времени я был уже женат. Моя теща Тамара Ивановна была не только ветераном Сталинграда, но и великой мастерицей жаловаться на жизнь. Она засела на крохотной кухне, выгнала нас с Любой за дверь, и стала писать в школьной тетрадке целую историю о немецком танке, подбитом в 1942 году прямо у крыльца их сталинградского дома, о рытье окопов, переправе раненых на плотах через горящую Волгу, о годах эвакуации, проведенных в землянках и бараках, пока уже в 1958 году ей, наконец, не дали отдельную квартиру, 27 кв. м., в хрущевской пятиэтажке, которую все работники ее предприятия строили методом народной стройки на воскресниках. Получился сильный документ, биография СССР сквозь призму субъективного и в то же время типического поколенческого опыта моей тещи. Будущий исторический социолог, наверное, возликует, найдя его в архивах Моссовета. Мне оставалось лишь написать краткое и, как я надеялся, юридически грамотное пояснение жилищной ситуации, с чем и был отослан пакет на имя Вороненко.

Две недели спустя предупредительный референт позвонил сообщить, что мое дело было вынесено на жилкомиссию и, учитывая ветеранские заслуги тещи, плюс мое «достойное исполнение интернационального долга» и «особые обстоятельства в связи с необходимостью ведения научной работы на дому», «вопрос решен положительно». «Нет, что Вы, не нужно никуда являться.» Они с удовольствием все сделали сами. Я был помещен вторым (!) номером в списке очередников по г. Москве на четырехкомнатные квартиры в инвалютном кооперативе. Нужно было только перечислить необходимую сумму на счет строительной организации и выбрать место застройки.

В конторе с милым названием «Березка-Услуги», где принимали в валютные кооперативы, рядом со мной на стульчике сидел печальный старый еврей, словно с картины Шагала. Заметив, что я читаю португальскую газету O Diário, он вдруг обратился ко мне по-испански с явственно кастильским выговором. Оказывается, в 1936 году, сразу после минской средней школы, его, как способного к языкам комсомольца, отобрали в добровольцы спецназа НКВД. Он прошел интенсивный курс испанского языка, который преподавал раненый боец-коммунист из Эстремадуры, а также прыжков с парашютом и взрывного дела. Но к тому времени, когда молодой подрывник достиг Пиренеев, Испанская республика уже пала. С огромными трудностями, без денег и с довольно липовыми документами, таясь от французской полиции и гестаповцев, он кру-

жил по всей Европе, пока не достиг границы СССР, где его сразу же арестовали как предателя — потому что из всей группы вернулся лишь он один.

Нечто подобное я уже слышал. Чего стоило еще подростком увидеть старую фотографию нашего дяди Лёвы — в черном мундире эсэсовца, вылитый Штирлиц! Как во многих советских семьях, у нас почти никогда не говорили о прошлом, особенно о периоде с 1914 по 1955 г. Слишком тяжело. Дядя Лева оказался исключением — в отличие от несостоявшегося интербригадовца, он воевал на другой, великой и победоносной войне, где выжил и стал орденоносным героем-разведчиком. В конце 1939 г. дядю Леву, как комсомольца с многонационального Северного Кавказа, направили в спецназ погранвойск на Западную Украину. Летом 1941 года он был впервые брошен в тыл к немцам, откуда им вместе с радистом пришлось потом три месяца выбираться по лесам и болотам, догоняя отступающую Красную Армию. Где-то около Брест-Литовска они тихо и чтобы не испортить кровью мундиры задушили своими ремнями двух эсэсовцев возле одинокого амбара, куда зондеркоманда свозила на расстрел людей из близлежащего местечка. Дядя Лева, конечно, очень любил вспоминать триумфальный момент, когда он, уже в немецкой форме, ломал двери амбара и уводил людей в лес, объясняя по ходу на своем корявом идише вперемешку с польским и более родным для кубанца украинском, как создавать партизанский отряд. Когда дядя Лева, еще одетый в ошметки эсэсовской формы, наконец добрался до нашей передовой (а точнее, до пьяного красного командира, который отошел помочиться в реку, которую переплывал дядя Лева), его самого чуть не расстреляли на месте как немецкого шпиона. Спасло тогда владение русским матом и наколка на плече в виде красноармейской звездочки. В 1945 году он встретил в Берлине того самого офицера, который его однажды чуть было не шлепнул, и они здорово напились за победу.

Поражает меня в этих героических историях, насколько близка по времени и как далека от нас по духу та эпоха. Рассказ идет как будто о совсем иных, чем ныне, испанцах, немцах или русских. А ведь минуло всего несколько десятилетий, одно поколение, мгновение по шкале исторического времени. Но если даже допустить, что люди изменились на самом деле куда меньше, чем нам кажется — и это наверняка ближе к истине — все-таки неоспоримо, что та Европа эпохи войн, революций и множественных геноцидов разительно отличалась от нынешней Европы с ее бюрократически лицемерной и застойной политикой, благовоспитанностью и благотворительностью — или это всего лишь наши собственные иллюзии восприятия? Не склонны ли мы упускать из виду подземные разломы, скрытые внутри макроисторических структур? Ведь каким лицемерным, застойным, благосостоятельным — и вечным — казался Советский Союз еще моему поколению, выросшему в 1970-е годы. Поймут ли мои дети байки про советское посольство в Мозамбике или цензоров из ЦК КПСС, запрещавших мою диссертацию?

Поупражнявшись в испанском, мой еврейский сосед по очереди в «Березке-Услуги» печально поведал, что его внук эмигрировал в Израиль и там, эх-хе, стал бизнесменом. Внук послал дедушке валюты, чтобы тот купил себе квартиру в Москве, потому что старик категорически отказался уехать в Израиль. «Конечно, — рассуждал он, — многострадальный еврейский народ заслужил право на самоопределение, но зачем же состоять на службе у наиболее агрес-

сивных кругов американского империализма? Почему Израиль не может быть миролюбивой советской республикой?»

Пронеслась весна 1989 года. В Академии наук выбирали в парламент диссидента Сахарова, ренегат Политбюро Ельцин баллотировался по Московскому округу, к которому были прикреплены все совзагранучреждения, в том числе и шесть тысяч наших «специалистов и членов семей» в Мозамбике, из которых добрых восемьдесят процентов проголосовали именно за популярного ренегата. Говорят, что посол, сам бывший секретарь одного из сибирских обкомов, узнав такой результат, потом несколько дней вопрошающе вглядывался в лица подчиненных, очевидно, силясь определить предателей дела партии, и, понимая, что ведь почти все, только махал рукой и бормотал: «Да, ну вас всех!»

Новостей было много, они захватывали дух и окрыляли. Наш дом обещали сдать к августу 1991 года...

События понеслись обвалом. Советский Союз распадался и его осколки стремительно начинали напоминать мне Мозамбик. Ушел Горбачев. Где-то теперь мой благодетель Вороненко? Я не мог оторваться от экрана телевизора, когда в августе 1991 г. толпа демократов изгоняла инструкторов из здания ЦК КПСС — а вдруг увижу и того самого, который запрещал публиковать мои статьи по Мозамбику за «злостное, если не злонамеренное преувеличение трудностей социориентации в условиях Африки»? Еще пару лет я старался не вспоминать о судьбе моего драгоценного счета в банке, который, как сообщалось в прессе, после распада СССР оказался совершенно разграблен. Что ж, думал я, банки редко остаются целыми после революционных переворотов.

К этому времени — еще одно чудо ранних девяностых — мы оказались уже с двумя крохотными детьми в городке Бингемтон штата Нью-Йорк, и в духе новых времен, отчаянно бедствовали. Аспирантская стипендия под тысячу долларов в месяц издали потрясала воображение, а американские трущобы и платная медицина казались советской пропагандой. Первая же ночь, проведенная в душной автобусной станции на 42-й улице Нью-Йорка, принесла жестокое отрезвление. Американские бездомные выглядели дичее мозамбикских бандитов, загаженная улица состояла, казалось, из одних порнокинотеатров, а откормленные полисмены, увешанные бряцающей амуницией, вызвали желание вжаться в стену. Чувствовал я себя Незнайкой на Луне. Спасло знание испанского — добрая пуэрториканка-уборщица объяснила, как совладать с телефоном-автоматом. Далее, почти как в жизненно правдивейшем фильме «Мимино», выручило гостеприимство грузинского еврея Зурика, номер телефона которого мне дали перед отлетом из Москвы. Услышав, что я друг и научный коллега князя Рашида Мурадовича Капланова, простой бруклинский строитель родом из Тбилиси спросил без обиняков: «Чувак, ты ох... л?! Сидишь прямо на 42-м стриту? Через час выходи на угол Бродвея, я буду на черной «Хонде», поедем в центр жлобства, на Брайтон, покушаем по-человечески». На утро, с мешком замечательных чебуреков и колбасы, именуемой с одесским юмором «свинной полукошерной», которыми меня снабдил в дорогу сердобольный матерщинник Зурик, я отправился дальше в Бингемтон. К исходу вторых суток на американском континенте я вышел по карте прямо к дверям Центра им. Фернана Броделя по изучению экономик, исторических систем и цивилизаций.

Инструкции и карта, которые мне еще в Москву прислал по факсу (тогда большой новинке) Иммануил Валлерстайн, были образцом элегантной доходчивости. Великий социолог, как я потом не раз убеждался, обладал редким даром четко и емко объяснять, как попасть из пункта А не только в пункт В, но также в пункты Q и Z, будь то автобусная остановка или доказательство единства мирэкономике начиная с XVI века. Великие велики во всем. Впервые мы познакомились в Мозамбике при обстоятельствах, будто списанных из шпионского романа Грэма Грина. Конечно, мне совсем не полагалось вступить в контакт с гражданином США, пусть даже и легендарным ученым, работы которого ходили по общагам МГУ в скверных ксерокопиях. С другой стороны, Валлерстайна в Мозамбике охраняло целое подразделение агентов Национальной службы народной бдительности. Как бывает в молодых государствах, поэт революции, декан социологии и начальник тайной полиции оказались одним и тем же лицом — полковником Сержио Виейрой. Надо признать, опасность существовала. До границы с ЮАР всего 47 километров. Годом ранее соавтор Валлерстайна и известный леворадикальный социолог Акино де Браганса погиб от взрыва бомбы, замаскированной под посылку с книгами. Валлерстайн приехал в Мозамбик на могилу друга. Но был тут и момент чистой ревности — полковник Виейра не желал делиться именитым гостем и почему-то особенно ревновал к нам, советским. Пришлось идти в двойной обход — своего посольского начальства и полковника Виейры. К счастью, его секретаршей служила красивая и рослая кубинка Сильвия (сам полковник был низок ростом и даже несколько плюгав, и наверное оттого окружал себя статными красавицами). Сильвия училась шесть лет в Баку, откуда вынесла привычку пить чай и играть в нарды. Обычно мы с ней играли на хлеб из пекарни нашего торгпредства, но в тот раз я предложил сыграть на записочку, в которой написал провокационно: «Уважаемый профессор Валлерстайн, попасть на Вашу лекцию мне очень трудно, поэтому я вынужден столь необычным образом выразить свое давнее недоумение по поводу Вашего причисления моего родного СССР к полупериферии капиталистической миросистемы. Если вы согласны объяснить этот парадокс, пожалуйста, выйдите в 18:00 к центральным дверям отеля «Полана». Я буду стоять под жакарандовым деревом на противоположной стороне авеню-ды Джулиуса Ньерере». Так мы и познакомились с Валлерстайном и тогда же, на веранде описанного Грэмом Грином отеля с видом на Индийский океан, Валлерстайн в первый раз выручил меня из серьезной беды. Немудрено было утратить бдительность, когда Валлерстайн прогнозирует, что СССР при моей жизни станет капиталистической страной и мы будем ездить «в Париж по делу, срочно» (Валлерстайн, оказывается, знал сатиры Жванецкого) — но это не обязательно сделает нас счастливее. Учтите, шел жаркий январь 1988 года, когда еще не грохнул Карабах, а Литва только предлагала в порядке эксперимента перевести республику на хозрасчет. В этот момент, окруженный стеной телохранителей, к нашему столику подошел сам полковник Виейра. Сняв свои огромные темные очки, полковник хлестнул меня взглядом и процедил по-португальски: «Завтра утром посол СССР будет проинформирован, где тебя видели». Как минимум, это означало немедленную высылку на Родину с последующим исключением из аспирантуры. Но полиглот Валлерстайн понимал также и португальский. Хлопнув Виейру по плечу и пыхнув сигарой, Валлерстайн ска-

зал радушно: «Сержио, у нас тут сверхдержавный разговор. Но в духе советской гласности, можем и тебя пригласить поучаствовать, если не будешь прибегать к полицейским аргументам». Позднее, садясь в свой бронированный «Пежо», полковник спросил меня: «Знаешь, почему я так не люблю вас, советских? Потому что я — организатор партизанской войны против португальского колониалфашизма! Я провел двадцать лет в борьбе! Шесть раз я приезжал в Москву, и ни разу — ни разу — меня не принял Брежнев». Что оставалось ответить? «Спасибо, камарада Виейра, что держите меня в ответе за Леонида Ильича».

Теперь, оказавшись в Америке перед Валлерстайном, я мог только спросить, будем ли мы заниматься Мозамбиком? «О, нет, — ухмыльнулся в усы мэтр, — все мы когда-то прошли через Африку, и это было очень полезно для формирования миросистемных взглядов. Но теперь для нового проекта мне нужен эксперт по распаду государств, и никого лучше я придумать не мог. Везде, где Вы, мой друг, успели побывать, государства разваливались, не так ли? Мозамбик, СССР... В Ливане и Афганистане бывать не приходилось?» Так я стал макро-социологическим патологом.

По меркам последствий государственного распада, не приходилось жаловаться на то, что мы с семьей внезапно оказались в нужде и в чужой стране. Ну, был богатым студентом в СССР, теперь стал бедным в США. Удалось устроиться ночным комендантом в общежитии, за что не полагалось никакой зарплаты, но предоставлялось служебное жилье в том же (эх, опять!) общежитии. В управдомы я попал почти случайно, спросив моложавую, но распираемую полнотой крашеную блондинку из управления кампусом, берут ли вообще на эту должность иностранцев? Она неожиданно сделалась пунцовой и зататорила, как-будто я спросил ее о чем-то глубоко аморальном: «Мы не проводим никакой дискриминации! Хочу сразу же обратить внимание, что мы преодолели употребление потенциально обидного слова «иностранцы» и вместо этого предпочитаем говорить о категории глобальных студентов. Отсутствие среди ночных комендантов представителей данной категории является чистой случайностью, и мы благодарны за то, что наше внимание было обращено на это упущение. Спешу заверить, Ваше заявление будет рассмотрено без всякой предвзятости!» Так я неожиданно использовал американскую политкорректность, а заодно на наглядном примере увидел, что пресловутая политкорректность есть типично бюрократическое избегание последствий на символическом уровне. Турецкий социолог Чаглар Кейдер тогда только ухмыльнулся: «Американская система поистине бессильна перед людьми из нашего района мира».

Впрочем, это нескромное наблюдение следует пояснить. Американская система состоит из людей, очень похожих на советских (в том же Бингемтоне добрая половина населения — потомки всевозможных славян и восточноевропейских евреев, и, кстати, бюрократку, которую я так напугал своим невинным вопросом, звали Пегги по фамилии то ли Федюк, то ли Раппопорт). Но эти по сути наши люди включены в систему социальных связей, намного более четких и оттого предсказуемых. Бюрократические правила, совершенно по Максу Веберу, формальные, и оттого правила регулярно оборачиваются несуразностями. В свой черед, несуразности также предсказуемы, а, следовательно, человек, который вырос в другой социальной среде, где было жизнен-

но необходимо уметь искать пути обхода бюрократических препон, определенно оказывается в преимуществе.

Москва вскоре начала казаться нереальной из Бингемтона, затерянного посреди лесистых сопок штата Нью-Йорк. Для начала, кто бы мог вообразить, что Нью-Йорк такой дикий штат? Бобры, олени и целые выводки толстеньких сурков подходили под самые окна общежития. Мусорные баки находились в лапах у опоссумов, енотов, и скунсов. Впрочем, экологии сильно помогла деиндустриализация. На моих глазах в Бингемтоне закрылась последняя обувная фабрика, в результате переноса производства в более дешевые Бразилию и Корею. Само строительство нового университета на деньги штата Нью-Йорк откровенно служило созданию рабочих мест в депрессивном городке. Вот откуда и глобализация, и мрачноватая реальность деиндустриализации за модным выражением «экономика знаний».

Газеты теперь доносили из России отголоски ставших вовсе непонятными новостей: какие-то ваучеры, Хасбулатов, вездесущий Бурбулис, Пригородный район... Но, оказывается, среди всей революционной кутерьмы и рыночных шоков, бюрократические шестеренки продолжали крутиться. В конце 1993 года моей теще позвонили из якобы ликвидированной еще Лигачевым «Березки» и потребовали живо перечислить дополнительные три миллиона рублей на «удорожание стройматериалов вследствие гиперинфляции». Я понятия не имел, что означала эта сумма. Оказалось, что три «лимона» равнялись все-таки нескольким тысячам долларов, которых у меня совершенно не было. Очевидно, кто-то из бывшей «Березки», начинавший тогда свою борьбу за место в бизнес-элите, рассчитывал именно на такой ответ — и нам тут же предложили переуступить свой пай в кооперативе. Тем временем в Краснодаре, ничего мне не говоря, отец пошел по друзьям, родственникам и соседям, подтверждая тезис социолога Алены Леденевой о роли сетей взаимных обязательств в позднесоветском обществе, особенно в южных провинциальных городах. Заняв денег, в основном под доброе имя семьи, папа, как старый армянский скорняк-контрабандист, спрятал их в потайной карман, который ему заботливо пришила мама, оделся потеплее для московской зимы и отправился дешевым плацкартным вагоном на север, через опасности и нововозникшие недружественные таможи Украины.

Я осаждаю собственную квартиру

Все шло прекрасно до последней минуты. Отец внес деньги, обошел все инстанции, оформил массу документов, наконец, он получил ордер и ключи. Хотя квартира оказалась совсем не в том доме, где мы рассчитывали, по крайней мере, построен он был сносно. Несмотря на мерзкие обои, торчащие из розеток провода, и обычную чудовищную сантехнику, вселяться можно было бы прямо сразу. К концу долгого дня папа настолько промерз, устал от Москвы, и так сильно захотел домой в Краснодар, что, наверное, утратил свое чутье. В духе времени, он пустился в рыночные отношения и сдал квартиру совершенно неизвестному «бизнесмену», на ларьке которого висело «Сниму квартиру дорого». Парень недавно вернулся из армии и теперь продавал в железном ларьке у метро конфеты, жевательную резинку, пиво и водку, а ночевал там же, на полу.

Молодой бизнесмен ни разу не заплатил за жилье. Он сам жил вдолг, надеясь скоро разбогатеть. Пока же ему приходилось скрываться от кредиторов, которые наняли бандитов или сами ими были. Поэтому он и не впустил меня в квартиру, когда я приехал в Москву следующим летом. После всех этих приключений, мне не так важны были его деньги — тут бы насладиться видом своей долгожданной жилплощади на 101,2 кв. м. Долго бродил я вокруг дома, по продуваемой со всех сторон стройплощадке, лежавшей посреди запутанных рельсов и бывших картофельных полей за пределами МКАД. Натяканные по площадке панельные дома были сооружены как будто из коричневых и сине-белых кубиков детского конструктора «Лего», самого базового набора, где никаких изысков — одни кубики. Стоило лететь через океан и потом еще добираться в это Жулебино, чтобы ткнуться носом в запертую дверь собственной квартиры и послушать сдавленное шептание за ней?

По крайней мере, следовало познакомиться со своими новыми соседями. Дверь напротив открылась еще до того, как я нажал на кнопку звонка. Хозяйка все это время следила за мной через глазок. Ей было за сорок, но миловидна и кокетлива, хотя одета в слегка рваный халат и — ужасно болтлива. Представившись Натальей Ивановой (мое имя она и так прекрасно знала), извиняясь за халат и неприбранную квартиру, она за руку втащила меня на кухню и стала потчевать болгарским коньяком под соленый огурец и остатки пирога. Не сбавляя темпа, гостеприимная хозяйка стала выпытывать, на самом ли деле я из Америки? Ее муж, в спортивном костюме и тапочках, хмуро читал в углу оборонно-шовинистическую газету «Завтра». Мельком я заметил висевший в прихожей мундир подполковника авиации. Хозяйка, чувствуя неловкость, махнула на мужа рукой: «Да не обращайтесь вы на него внимания! Моему Ивану скоро в отставку, а какие теперь пенсии у военных? Вот, еле-еле квартиру-то выбили. Нам ведь положено!» И вдруг тоном бабского причитания из глубин русской жизни: «Ох, дорогой мой Георгий Матвеевич, знали бы вы, до чего довели нашу Россию эти макро-эко-номисты! Жизнь-то какая трудная — у молодежи нет никаких перспектив. Вон, дочка-то моя, уж девятнадцать лет и, скажу без хвастовства, очень даже ничего собой, ну, вы меня понимаете? Скоро нам понадобится жених, лучше б американец. Когда я в ее возрасте была, мы все, девки-то, бегали за курсантами. Так то тогда! А теперь, на кой кому сдался военный, вроде моего Ивана? (Муж молчал все мрачнее.) Пожалуйста, я прошу вас как мать, подыщите нам хорошего американского паренька. Что вам стоит, а? А об остальном мы сами позаботимся».

«Интересно, — подумал я, — что будет, если познакомить ее с Кеном, который страшно положительный парень, всегда при галстук, вежливый и пунктуальный, как самый стереотипический американец, изучал русский язык и литературу в колледже, притом он рослый красавец геркулесова телосложения. Кен — настоящий негр из Алабамы».

Дверью моего другого соседа, по примете новых времен, служила стальная плита, вполне подходящая для бомбоубежища. После моего представления, железяка с лязгом приотворилась, и я был приглашен на чай. Квартиру наполняла приторная музыка из индийского кино. Хозяин был одет в поддельный спортивный костюм «Адидас», сухощав, смугл и давно небрит. С первой же фразы блеснуло множество золотых зубов. Конечно, он был сельским

азербайджанцем. С неистребимым акцентом, столь же сладким и липучим, как рахат-лукум, он первым делом заявил свое обывательское кредо: «Ара, ты этот армянин, да? Короче, братишка, я тебе хочу сказать, что этот Карабах-марабах, эта война-майна меня не касается! Я тут в пекарне чуреки делаю, да-а, у меня жена — вообще русская с ткацкой фабрики в Иваново. Ара, я эту политику в гробу видал!» Он оказался родом из Закатальского района, известного своими грецкими орехами и тем, что оттуда особенно много народу уезжает на заработки, потому что орехов, как видно, на всех не хватает. Он долго угощал меня чаем с халвой и по секрету сообщил, что мой квартирант — очень опасный человек. «Совсем сопляк, ара, но мнит из себя крутого, а ума нет совсем! Собаку завел — пах! Волкодава, да-а. Он что, чабан? А собаку кормить-гулять кто будет, а-а? Собака из-за двери плачет, просится, а этого парня днями не бывает. К нему все время ходит плохая компания. Короче, я тебе говорю, братишка, ты с ним поосторожней!» В самом деле, за отодранным кожзамениателем на моей двери поблескивала пуленепробиваемая пластина. Похоже, я недооценивал деловые риски моего квартиранта.

Начали звонить мои бывшие приятели по общежитию, причем первым позвонил азербайджанец Раджаб. В шутку утрируя этнический акцент (вообще-то он происходил из лучших семей Баку и говорить с акцентом не мог по причине элитарного незнания азербайджанского языка), предложил: «Ара, Жорик, может помочь? Ребята все подъедут». Вот так, наверное, начиналась кавказская мафия. В студенческие годы нас объединяли совместные поездки на Курский вокзал для встречи передач, которые с проводниками нам в Москву слали родители. Неформальное землячество объединяла чистая ностальгия на фоне громадной холодной Москвы, плюс ритуалы совместного поглощения домашних грузинских вин, армянской долмы, азербайджанской черной икры, пахлавы и фруктов и пышных кубанских пирогов, которые пекла моя мама. На минуту представилась роскошная сцена, почти как из нашего культового фильма «Мимино» — иду выселять жильца с грозной бандой из чеченца, кабардинца, азербайджанца, татарина, выросшего в детском доме в грузинском селе, да еще и тбилисского езида (езиды говорят на курдском диалекте и принадлежат к остаткам мистической секты манихейского происхождения, из-за чего несведущие люди считают их дьяволопоклонниками). Хорошо бы достать папахи и башлыки, чтоб надвинуть на глаза. У большинства моих приятелей были уже ученые степени: например, Алик Юсупов, татарин из Грузии, был нашим лучшим специалистом по Грамши. Тем не менее, многим москвичам мы часто казались угрожающими, и, признаюсь, иногда использовали стереотипный образ для студенческих розыгрышей. (Ну, прихвастну еще раз: этим примером апроприации этнических стереотипов и превращения их в самоидентичность потом довелось повеселить и самого Пьера Бурдые, и моего знатного, но в быту совершенно доступного коллегу по Северозападному университету Юргена Хабермаса.) Набег подобной толпой мог бы стать великой демонстрацией регионального интернационализма (добрейший Раджаб сказал твердо: «Как жить в такие гадские времена, если азербайджанец не поможет армянину?»)

Но я все-таки решил, по примеру Остапа Бендера, чтить уголовный кодекс, хотя бы на первых порах. Встав на путь закона, я удивительно быстро заручился любезной помощью местного отделения милиции. Дежурный заодно

спросил, не мог бы я сдать квартиру одному надежному человеку, которого он лично и порекомендовал: «Работает в банке». Конечно, в тех обстоятельствах я рад был сделать такое одолжение.

Я показал паспорт, что-то подписал, вызвали слесаря — и через час, наконец, увидел свою квартиру изнутри. Серые обои были наклеены прямо на голый бетон, ванная комната была убого покрашена половой краской. Но кто ожидал чего-то другого? Собака разодрала двери и обои, бедный пес. Спал мой квартирант на полу.

Рекомендованный милиционером банковский сотрудник оказался татуированным грузинским верзилкой с карманом, набитым сто долларовыми бумажками (а прогос стереотипов), и пистолетом ТТ под мышкой, торчавшем, когда банкир почесывался. Я нервно пошутил, что нас когда-то учили не носить пистолетов вообще, тем более системы ТТ. Прищурившись, мой новый жилец любопытствовал: «И что же там советовали носить в этой вашей школе?» Чувствуя себя совсем нехорошо в компании нового квартиранта, я продолжил мужской разговор прямо по Эрвингу Гоффману: «Прежде всего, нам советовали не искать приключений (Ха! — подумал я рефлексивно по поводу текущей интеракции), а на крайний случай, носить с собой пару ручных гранат. Пистолеты создают ложное ощущение защищенности. А гранатой можно дать шумный сигнал, или отпугнуть, их можно на ночь на растяжке подвесить...» — пересказывал я неформальную мудрость подполковника Передистого. Конечно, на военной кафедре МГУ нас этому не учили, а заставляли зубрить ахинею про дивизию в наступлении и моральный облик бойца. Крупицы подлинных военных навыков передавались вне программы, в основном перед отправкой на стажировку в горячие точки планеты. Увы, мой комментарий оказался пророческим. Я видел своего нового жильца в первый и последний раз. Через два месяца позвонила его жена сказать, что мужа убили и она срочно съезжает с квартиры. Тут уж я убедил своих родственников, что такую дурную квартиру надо продавать.

В поисках приватизации

Продажа жилья оказалась предприятием не менее экзотичным, чем его приобретение или сдача в аренду. Например, однажды я прилетел в Москву только для того, чтобы узнать, что предполагаемым покупателем была не женщина по имени Наташа, а ее муж, который, как оказалось, был старшим сыном африканского шейха из Тимбукту. Тимбукту! Реальный мир романтичнее, чем предполагают мечтатели. Но старый шейх был болен, его сын имел сыновние обязательства в Мали, а я не мог его бесконечно ждать. Однако в конечном итоге мы нашли покупателя — строителя, имеющего связи со всемогущим мэром Москвы, и получили 75 тысяч долларов, средняя на 1997 г. цена за квартиру такого размера и на окраине. Спустя восемь месяцев рубль девальвировался в четыре раза.

Покупатель предпринял все меры предосторожности. Продажа должна была быть защищена со всех законных и не только законных сторон. Сначала он расплывчато, но настойчиво упоминал о своей дружбе с бандитами на случай, если я вздумаю его «кинуть». В порядке силового паритета, я намекнул на друзей из чекистов. Подходя к делу практично, покупатель потребовал,

чтобы я предоставил все возможные документы, доказывающие мои исключительные права на данную собственность, включая свежую справку о моем психическом состоянии. Так началось новое хождение по конторам...

По лютому декабрьскому морозу, я скитался по дворам вокруг указанного мне метро в поисках районного ведомства по приватизации, чтобы обрести там «дополнительную форму номер шесть». После почти часового блуждания по дворам я, наконец, понял, что адрес, который мне дали, принадлежал зданию, которое пара рабочих в ватниках неспешно обрабатывали кувалдами. «Приватизация переехала, ее здание приватизировали, и теперь здесь будет казино», — выдали они парафраз России девяностых. В конечном итоге, я нашел — на другом конце города — центральное ведомство по приватизации. Посетителям необходимо было внести свои фамилии в списки, висящие у приемного окошка.

Прямо надо мной в списке значилось имя, звучавшее как раскат грома: Милорад Божевич Савич! Ошибки быть не могло — в Москве не сыскать двух человек с таким южно-славянским именем. Каждый год кто-нибудь разыгрывал наивных первокурсниц, подстрекая их подойти к старому монстру после лекции с вопросом: «Милорад Божевич, а это сербское имя или хорватское?», на что он выпучивал свои огромные глаза и ревел: «Церногорске!» Ужасающий, но всеми обожаемый профессор Савич читал марксистско-ленинскую философию не одному поколению аспирантов советской Академии наук с тех пор, как примирение Хрущева с Тито положило конец его активной политической деятельности. Жизнь Милорада Савича была некогда богата историческими событиями. Родившись в известной черногорской семье, он получил хорошее классическое образование в гимназии в Четинье; совсем юным вступил в коммунисты и сражался в партизанах во время войны; а после 1945 г. приехал в Москву учиться в Академии бронетанковых войск и после разрыва Сталина с Тито остался в СССР. Но нас занимал не сталинизм Савича, а вопрос, как при его гигантских размерах (черногорцы — вообще самый рослый народ в Европе) он умещался в танке? Хотя, конечно, у Савича были свои особые данные: голос, способный перекричать шум двигателя, и кулаки, которые в молодости наверняка имели бронебойную силу. Во время лекций профессор Савич регулярно пускался в реминисценции, за что его, собственно, так любили. Он упоминал, как дважды проходил по политическому делу в Венгрии и сидел какое-то время в Румынии. Со своим неподражаемым звонко-рокочущим акцентом, перставляя почти все ударения на южнославянский манер, Милорад Савич высмеивал Тито при каждой возможности («Только погляните на этого теоретичнаго новатора! Его конечное достижение — провозгласить ислам в Боснии и Герцеговине национальностью. Каков Аристотэл!») и бросал фразы вроде: «Того Дьердя Лукача я знал, критиковал...» или «То был такой социолог Зыгмунт Бауман, ну, держал кафедру в Варшаве, в 1968 год делал реферат про ревизионизам, потом уехал в Израиль, преподавал в Оксфорде, Кембридже — да бог знает где!» Тем не менее, Савич был справедлив, порой удивительно непочтителен к коммунистическим догматам и действительно знал античную философию, наверное, еще с гимназии. Я огляделся — в громадном вестибюле бюро по приватизации Милорада Божевича я не находил. Если бы Савич был здесь, его, конечно, было бы

видно над толпой, а еще вернее, слышно его голос с незабываемым выговором — того языка, который с распадом коммунистических государств утратил свое прежнее слитно-раздельное название сербо-хорватский и стал вбодавок еще и боснийским. Как бы старик пережил еще и эту катастрофу? Я заглянул в окошко: «Девушка, скажите, пожалуйста, а где тот господин, чья странная фамилия стоит по списку прямо передо мной?»

«Он умер, — был ответ. — Это дело о наследстве».

Миловидная средних лет женщина в паспортном столе, куда я затем пришел за очередной печатью, устроила из своего заурядного кабинета искусно возвращенную оранжерею. Она взглянула на заполненные мною бланки и спросила ласково: «Ну, зачем вы тут пишете, что работаете в каком-то университете в США?» — «Это ведь больше не возбраняется, разве не так?» — ответил я, приподнимая брови. — «Да ради бога! Работайте, где вам нравится, если возьмут. Вопрос, выдают ли американские университеты справку с места работы по форме 68?» — «Нет, но вообще, они выдают массу других форм, спасу от них нет». — «Кто бы сомневался! Только с такими вашими документами головной боли не оберешься. Так почему бы нам не стереть эту запись и не написать просто: “Временно нетрудоустроен”? Нет работы — нет бумаг — нет проблем!»

Только из-за таких женщин уже стоит любить Москву.

Затем в стильном военкомате я должен был получить свою карточку учета. Из-за железной двери появился усталый подполковник в шерстяном свитере «вшивничке», пододедом под китель, с папкой в руках, и как-то неуверенно сказал: «Знаете, вас должны бы повысить в звании. Если пойдете на месячную переподготовку, будете майором, — и вздохнул. — Хотя ведь не пойдете».

Наконец, в шесть часов вечера 25 декабря 1997 года, когда Запад наслаждался рождественскими подарками, все бумаги были получены и заверены. Покупатель нервно переминался рядом со мной — не раз в наших головах пронеслась мысль, как бы тут в последний момент и не «кинули». Оставалось только подписать акт купли-продажи и сдать его в очередную, переполненную людьми контору, — последнюю в этой эпопее. В той очереди мы простояли пять часов — притом, что это была «левая» очередь, в которой все уже дали взятку, чтобы пройти в обход очереди легальной.

Вот теперь оставалось совсем немного — нестись в банк за деньгами. В России все платилось наличными. Задача заключалась в том, чтобы изъять из банковской ячейки 75 тысяч долларов, заранее проверенных под фиолетовой лампой на фальшивость. С утра, по стандартной для жилищных сделок процедуре, после совместной проверки купюр, они были убраны в сейф. Ячейка в банковском подвале была заказана покупателем на мое имя и в моем присутствии, но ключ оставался у него. Заключительный акт состоял в обмене ключа на подписанное соглашение о продаже. Мне предстояло придумать, как быть с деньгами — не держать же их опять в банке. Банковским хранилищем ценностей оказалось бомбоубежище под жилым домом, украшенное позолоченными светильниками, гипсовыми карнизами и ламинатным полом по моде, именуемой в России «евроремонт» (преимущественно турецкого стиля), а также металлоискателями на входе. Охранники, вооруженные короткоствольными автоматами и облаченные в бронезилеты, не позволяли находиться внутри более чем трем лицам одновременно. Остальная часть очере-

ди должна была стоять на улице. Изысканное зрелище! Толпа людей, одетых в дорогие меха и дубленки, топталась в грязном снегу, нервно сжимая в объятиях пакеты и портфели, заметно распираемые грудями наличности. Вот он где, неуловимый средний класс новой России, которого обыскались некоторые социологи.

Извав деньги из ячейки, мы неслись зимней ночью на машине моего шурина Женьки, запутывая следы по переулкам в центре Москвы и пытаясь оторваться от потенциальных преследователей. Но никто за нами не гнался. Пунктом назначения, где мы собирались спрятать свой клад, служила небольшая книготорговая фирма моего американского друга, которая, как оказалось, находилась прямо посреди штаба избирательной кампании генерала Лебеда. То есть помещение под книгохранилище они сняли первыми, а потом пришли люди Лебеда и устроили вокруг научного бибколлектора свой штаб и три линии обороны. Тем нам и лучше! В России ничто не обходится без иронии. Штаб Лебеда занимал крыло Академии искусств им. Сурикова, прямо напротив Третьяковской галереи, и добросовестно патрулировался отставными полковниками десантных войск. На стене в деревянной рамке висел распорядок дня по штабу — совершенно как в казарме — но рядом еще и стихи какой-то восторженной поклонницы генерала, притом строфы сей оды были вычурно вписаны в фигуру птицы лебеда. Вдоль лестницы висели и студенческие картины, видимо, лучшие дипломные работы. Но меня — несомненно, признак испорченного социологией вкуса — больше заинтересовали предвыборные плакаты бывшего кандидата в президенты России. К примеру, такой: Лебедь в полевом камуфляже, только что выстреливший с колена из гранатомета, и подпись — «ГЕНЕРАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАНОВИЛ ДВЕ ВОЙНЫ» (по-видимому, в Молдове и Чечне). Из гранатомета-то здорово, наверное, по войне палить! В таком помещении находилось казалось спокойнее, чем в банке. Пожилая библиотекарь, присматривавшая за книжной фирмой, только махнула рукой: «Ах, эти? Да пусть себе играют в солдатиков. Лучше давайте ваши деньги положим спокойно вот сюда, в хозяйственную сумку. Кто догадается, что у пожилой женщины под картошкой лежат ваши доллары?» Спокойная мудрость ее слов проникала прямо в душу.

Как говорят экономисты, теперь моя квартира была конвертирована в ликвидность, как и многое другое бывшее советское имущество, и стала готова поступить в пространство глобальных капиталистических потоков, т. е. отправиться неизбежно окольным путем через границы. Так и мне довелось внести небольшую лепту в бегство капиталов из России и поучаствовать в раздувании американского финансового пузыря конца девяностых годов. Доверяя только друзьям или друзьям друзей, мы благополучно доставили всю сумму в Чикаго. Здесь начинается:

Часть вторая: Домик в деревне Вилметт

Вскоре стало печально ясно, что наше небольшое состояние для Чикаго было слишком небольшим. За 75 тысяч нельзя было купить ровно никакого жилья на огромной территории в радиусе двадцати миль от университетского городка. Оставалось залезать, как весь американский средний класс, в ипотечную

кабалу на 30 лет, благо, мой новый статус преподавателя университета позволял вести переговоры с банками. Пришлось проштудировать книжечку «Ипотека для чайников» (Mortgage for Dummies) и провести пару дней за калькулятором. В Америке бухгалтерские навыки столь же необходимы для социально компетентного взрослого, как навыки ремонта автомобиля для советского автовладельца. Калькуляции не утешали. Как ни считай, выходило, что только проценты по ипотеке будут съедать половину преподавательской зарплаты (это сверх трети, сразу забираемой налогами, пенсионной и медстраховкой). Но с другой стороны, налоговое законодательство США явно поощряет собственников домов. Проценты по ипотеке списываются с федеральных налогов, а вот квартплата — только в некоторых штатах. Вдобавок, нам становилось невыносимо жить с двумя весьма проказливыми детьми в квартирном доме по соседству с социально неблагополучными многодетными ирландцами, крайне раздражительной корейкой, парой лесбиянок и горьким пьяницей-сербом. Вдобавок, доходный дом, как практически все такого рода коммерческие постройки в США, имел картонные стены, а это вовсе не способствовало добрососедству.

После месяца изнурительных поисков, Люба нашла крошечный одноэтажный домик, похожий скорее на самостройную дачу советских времен. Домик стоял за пределами Чикаго и административно считался частью деревни под названием Вилметт (ударение на последнем слоге, по-французски — большинство топонимов, как и само название штата Иллинойс, восходят к франко-канадским охотникам за пушниной). Хозяин домика, невзирая на явственную неказистость товара, просил несусветные 220 тысяч долларов. Не поверив в такие претензии, мы решили поторговаться. Получили, как выражался дед Щукарь, полный отлуп — предложенные нами 190 тысяч были сочтены оскорблением и нас просили больше не звонить.

Так мы познакомились с социальной географией Большого Чикаго. Вилметт оказался престижным районом, фактически гетто белого среднего класса, а странный статус «деревни» — административной хитростью. Лет сто назад это была в самом деле деревня немцев-католиков, но с тех пор состав населения сильно поменялся. В Чикаго география задана озером Мичиган и розой ветров. Великое озеро шириной в сто километров и длиной более чем шестьсот служит аккумулятором температуры и создает собственный микроклимат. Зимой в приозерных кварталах в среднем на 5–7 градусов теплее, чем в западных пригородах, где уже начинаются степи-прерии, а знойным летом у озера явно прохладнее. Ветры дуют преимущественно с севера, что исторически сыграло решающую роль в складывании иерархии расселения. Вонь от знаменитых чикагских скотобоен (давно закрытых) и металлургических заводов уносило на юг, поэтому на севере и возле озера сформировались престижные, ибо, как сегодня бы сказали, экологически чистые районы. Проблема индустриального загрязнения стояла в начале XX века настолько остро, что чикагские власти еще в 1910-е годы совершили то, на что так и не хватило советских плановиков — развернули вспять реку Чикаго, которая теперь вытекает из озера Мичиган и уносит отходы в Миссисипи, с глаз, вернее, из-под носа долой. По затратам и перемещенному грунту, разворот реки Чикаго превзошел рытье Панамского канала! Чикаго остается самым монументальным

образчиком высокого модернизма. Природа покорена и поделена на аккуратные пронумерованные квадраты-кварталы, как в архитектурных видениях Ле Корбюзье. Кстати, с первого взгляда на Чикагскую товарную биржу осознаешь, что вдохновляло утопию социалистического планирования. Биржа — вылитый Госплан (ныне Госдума), вернее, конечно, наоборот — Госплан-Дума есть подражание чикагской бирже.

Вилметт среди северо-приозерных предместий еще не самый дорогой, и оттого там находится один из лучших в США школьных округов. В совсем буржуазных районах школы вообще-то ни к чему. В зоне пригородных поместий совсем низкая плотность населения: средняя семья из трех-четырех человек занимает усадьбу в несколько тысяч квадратных футов, окруженную парком. (Прислуга, по современным нормам, только приходящая — полячки или мексиканки из фирмы услуг «Веселые горничные» по 50 долларов за рабочий день). Там мало детей, и их обычно отсылают в частные пансионаты с платой за обучение порядка 20–30 тысяч долларов в год. В Вилметте же школа содержится на местные налоги, и там детей много, поскольку семьи врачей, адвокатов, управленцев в этот район переезжают именно из-за школы. (Пока бездетная молодежь предпочитает центр Чикаго с его барами и прочими развлечениями.) Для среднего класса в Вилметте сложился оптимально средний вариант: не слишком элитно и дорого, но весьма добротное и прилично, без городского хулиганства. В чикагских городских школах, между прочим, самая большая статья расходов — на школьную полицию, и на дверях стоят рамки металлодетекторов. В соответствии с протестантской тягой к децентрализации, налоги на дома остаются в распоряжении местных выборных властей. Где дома дороже — там больше налоговая база и лучше финансируются муниципальные службы. Соответственно, где налогов меньше или их не собрать вообще, возникают бедные, как правило расовые и этнические гетто со всем букетом социальных пороков. Децентрализация местных налогов в основном и повинна в знаменитом «Америка — страна контрастов». Когда мой шурин Женька приехал погостить в Чикаго, он непременно желал заснять на видеокамеру все свои впечатления, в том числе потребовал свозить его в негритянское гетто — как в фильме «Брат 2». Я пробовал его отговорить от такой авантюры, на что Женька только похихатывал: «Да ладно тебе, у нас в Ярославле, у пивняка возле шинного завода, еще и не такие рожи увидишь». В южном Чикаго Женька отказался сойти с платформы метро (на машине ехать туда я не рискнул): «Все, понял, ты был прав — сматываемся отсюда, пока не набили наши белые морды». Поэтому в Вилметте население ни за что не пожелает быть частью Чикаго. У «деревни» Вилметт с населением чуть более двадцати тысяч человек есть своя именитая школа, а также своя собственная, вежливая и эффективная вилметтская полиция, служба медицинского и пожарного спасения, муниципальный спорткомплекс, аквапарк, обустроенный пляж и яхт-клуб на озере, налаженная уборка улиц. Лужайки и парки служат надежным показателем социального статуса в Чикаго. Чем беднее квартал, тем меньше деревьев и больше асфальта. Вилметт утопает в аккуратной зелени. Правда, Эрнест Хемингуэй, также выросший в благополучном пригороде Чикаго, впоследствии заклеил свою малую родину «краем широких лужаек и узких умов». Но то Хемингуэй, враг мещанства и искатель приключений. В Африке

и мы бывали, а вот кооперативной квартирой в Москве Хемингуэю владеть не доводилось.

Наш выбор места жительства резко сузился. Вилметт, помимо школы и зелени, давал нам прекрасный доступ к университету, куда можно было за 20–25 минут добраться по тихим улицам на велосипеде. Не обошлось без казусов. В первую неделю в новой школе наш сын-первоклассник Степа, выходя из желтого школьного автобуса, невинно спросил, почему он у нас «такой коричневенький». Оглядев шумную толпу нордически бледнокожих детишек, я предложил ему: «Степчик, говори всем гордо, что во всей вилметтской школе ты единственный настоящий кавказоид родом с Кавказа. Остальные — скандинавская подраса». Согласно принципу дискурсивного избегания неприятных реалий, в США белые официально именуются кавказоидами или просто Caucasians. Сия архаическая терминология была заимствована у швейцарского антрополога Блюменбаха, некогда в Париже безнадежно влюбившегося в русскую княжну, которая на самом деле была грузинкой, причем, как водится, черкесских кровей. Отсюда, видимо, и пошло романтическое представление о Северном Кавказе как средоточении эталонного европейского облика.

Удача опять улыбнулась нам. Как-то солнечным летним днем, проезжая всем семейством на велосипедах по Вилметт-Авеню, мы увидели элегантно разодетую женщину, деловой вид которой выдавал агента по продаже недвижимости. (Чтоб продавать дома, клиенту надо себя являть.) Догадка немедленно получила подтверждение — наряженная в шелка и жемчуга дама тщетно забивала молотком в лужайку перед домом табличку «Продается». Предложив ей помочь, я оглядел дом, только что выставленный на продажу. Это был типичный чикагский бунгало начала XX века, мечта рабочей аристократии прежних времен. Ничего особенного, просто квадратная одноэтажная коробка из желтого кирпича под четырехскатной рубероидной крышей и до странного небольшими окошками, по-видимому, для экономии на отоплении. Больше из вежливости, я осторожно спросил: «Неплохое строение, только, наверное, сильно дорогое». Риэлтор тут же профессионально оценила меня: «Вы, наверное, из Восточной Европы? Вам всем нравится кирпич». Скрывать было нечего, риэлтор сама с готовностью сообщила, что муж ее грек, звать ее миссис Костакос и, конечно, мне она готова помочь по-свойски: «Знаете что? Зайдите внутрь, а потом поговорим о цене. Может, и потянете. Честно говоря, не думаю, что этот дом будет легко продать».

Изнутри дом выглядел угнетающе, как будто ты попал в американскую мечту образца пятидесятых годов: массовая застройка эпохи наступления общества потребления. Только дорогие и добротные вещи со временем становятся антиквариатом. Материальная среда людей статусом и вкусом попроче с течением времени обращается в старье и хлам. Особенно если это пластмассовая штамповка, предназначавшаяся польстить вкусу нарождающейся мелкой буржуазии. Выцветшие розовые обои в цветочек, дешевые люстры, имитирующие стиль от Тиффани. Изначально паркетный пол был впоследствии запрятан под искусственное ковровое покрытие, причем именно того зеленовато-желтого колера, который русские называют цветом «детской неожиданности». Но в склонном к обывательской экзотике американском сознании пятидесятых этот цвет именовался «авокадо». На кухне и в ванной лежал

коричневатый потрескавшийся линолеум. Двери и даже холодильник были обклеены пленкой, имитирующей дерево. В интерьере довлела пластмасса, моднейший материал пятидесятых. Интересно, на такой же кухне с американской выставки в Сокольниках некогда Никсон спорил с Хрущевым (тоже большим энтузиастом первого поколения искусственных материалов) о преимуществах американского образа жизни?

Обстановка дома была выдержана строго по хабитусу нижнего среднего класса (т. е. бывшего американского пролетариата) эпохи послевоенного процветания. На одной стене — католическое распятие, украшенное пластмассовыми розами, на другой — выцветший рыбацкий трофей в виде ярко раскрашенной форели (конечно, из пластмассы), в гостиной — миниатюрный барельеф фасада Белого дома (явно из сувенирного киоска), и цветная фотография в латунной рамке молодого белозубого стриженного под ноль парня в форме морской пехоты рядом со своей невестой, крашеной под платиновую блондинку, с химической завивкой и голливудской улыбкой. Это было очень правильное поколение, которому очень хотелось походить на звезд. Позади дома стоял похожий на сарай гараж на два автомобиля, из которого виднелась корма широченного, как шаланда, восьмицилиндрового «Олдсмобиля» модели 1979 года с наклейками на хромированном бампере — «Будь американцем — покупай американское» (т. е. поддерживай отечественного товаропроизводителя) и «Морская пехота — верность навсегда». Рядом с гаражем стояла гипсовая статуя Св. Франциска, проповедующего птицам, и поскольку основание статуи служило также поилкой и кормушкой, к ногам святого в самом деле слетались птички. На подстриженной лужайке перед домом высился оцинкованный железный флагшток размером с крейсерскую мачту и звездно-полосатым (конечно, нейлоновым) флагом величиною с добрую простынь. Флаг автоматически подсвечивался ночью лучом прожектора по сигналу таймера. Изнутри дома даже на лужайку тянуло застарелым запахом сигаретного дыма и дешевого пива. Исходили запахи от флегматичной старушки, которая сидела, с банкой пива в руке и сигаретой в зубах, на кушетке среди вышитых подушечек и смотрела американский футбол на экране старинного стилизованного под комод телевизора. Точно как на обложке монографии Рэндалла Коллинза о цепях интеракционных ритуалов, пожилая хозяйка дома олицетворяла то поколение американок, для которых приобщение к послевоенному процветанию начиналось с прежде запретных сигарет и баночного пива. Это было поколение американской мечты, олицетворяемой флагом, что также включало в себя немного Лас Вегаса.

Богобоязненные американские патриоты, чей дом вскоре станет нашим, столь же типично оказались потомками немецких католических иммигрантов из Трира. («Надо же, — не мог не отметить я, — земляки Карла Маркса»). В Вилметте они обитали уже четвертое поколение, невероятные старожилы по меркам динамичной и неукорененной Америки, где в среднем домами владеют всего семь лет. Во время Первой мировой войны и, соответственно, первой антинемецкой истерии — когда, с американской истовостью, шницель переименовали в Солсбери стэйк, а в некоторых штатах под страхом тюрьмы запретили преподавать немецкий язык — семейство чуточку подправило свою фамилию со Шнайдер на Снайдер. (Слава еще богу, что Сталин был не амери-

канцем!) Тогда же на передней лужайке впервые был поднят звездно-полосатый флаг — в целях публичного прояснения национальной идентичности.

Нынешний дом был построен бабушкой Снайдером, профессиональным цветоводом, в 1928 году, как раз перед Великой Депрессией. Оттого цементный подвал под всем домом был плотно увешан люминесцентными лампами — зимой он выращивал фиалки на продажу в Чикаго. В 1945 году сын Снайдеров вернулся с войны с невестой, и для молодоженов на чердаке отгородили фанерой то пространство, которое риэлтор миссис Костаκος застенчиво именовала «двумя, ну, одной с половиной верхними спальнями». С нашей советской точки зрения, эти наспех сооруженные чердачные спальни сильно напоминали коммуналку. Поэтому, несмотря на поток посетителей в день открытых дверей, мы оказались единственными реальными претендентами и заполучили эдакий вот дом, зато в Вилметте, всего за некруглые 229 тысяч — миссис Снайдер уступила тысячу долларов в счет ремонта протекающей крыши. Я убедил Любу, что нам лучше остаться на съемной квартире еще месяц и тем временем устроить кое-какой ремонт перед новосельем. Так я нас ввязал в очередную эпопею...

Самая простая смена кровли, по любезной оценке миссис Костаκος, обошлась бы примерно в пять тысяч долларов. С учетом дополнительных расходов на кровельные отдушины класса «де люкс» — конечно, «весьма желательные» — цена могла возрасти до девяти тысяч. В мою голову начала закрадываться мысль, свидетельствующая, что во мне все-таки есть что-то из старого этнического анекдота: «Почему армян нельзя селить в гостиницу больше чем на три дня? Потому, что как только они освоятся, начинают стеклить балконы». Зачем, думал я, за такие деньги нам перекрывать старую, когда можно, наверное, построить новую мансардную крышу? Элементарные подсчеты показывали, что при сломе и переделке крыши полезная площадь возрастала на треть, притом на стройматериалы уходили практически те же деньги, зато мы могли по-новому отделать второй этаж. Теоретически, все выглядело очень заманчиво. Но со времен студенческого стройотряда, где я был стропальщиком и научился только загадочным профжаргонизмам «вира» и «майна», я больше ничего не строил.

Традиционный американский путь «ремоделинга» жилья посредством фирм с «желтых страниц» телефонного справочника немедленно подтвердил опасение, что для этого надо будет продать как минимум еще одну четырехкомнатную квартиру в Москве. Тогда наш соседский серб-пропойца Милош, всегда настаивавший на славянской солидарности и оттого особо почитавший Жириновского, свел меня со своим приятелем-поляком. Пан Тадек, средней руки подрядчик, на которого работали почему-то румыны со словаками, оказался живым подтверждением казавшейся мне дотоле сомнительной теории о бифуркации соматических типов (проще говоря, разницы в телесной стати) среди верхних и нижних классов аграрных обществ. Дотоле мне приходилось общаться лишь с польской интеллигенцией, подчеркнуто изящные манеры и внешность которой указывали на шляхетское происхождение. Кабаноподобный и попахивающий пивным перегаром пан Тадек являл собой пример противоположной классово-телесной категории — быдла. Без стеснения демонстрируя свое превосходство над интеллигенцией в данной ситуации,

он спросил, сколько у меня денег, захохотал до икоты на мой уклончивый ответ, и в конце-концов посоветовал, по таким деньгам, построить во дворе сортир и там... О дальнейших рекомендациях пана Тадека умолчу с бессильным негодованием.

Явление Гидеона

Фортуна вернулась к нам окольным путем. На одной конференции я подружился с очень свойской американкой-антропологом по имени Дженни, которая в бурные годы перестройки изучала посредством включенного наблюдения неформальные артистические тусовки Ленинграда (очевидно, по причине исчерпания традиционных объектов этнологических описаний среди канибалов Новой Гвинеи). Американская антропологиня, как нередко случается, настолько включилась в изучаемую среду, что нашла в ней себе русского мужа-художника. Теперь к ним уже в Чикаго стали приезжать и прочие питерские приятели, привычные к творческим коммуналкам и диете из плавленых сырков с портвейном. Однако, в Америке эти непритязательные и вольные условия творческой жизни оказались сложно выполнимыми. Скромно перекантоваться с полгодика на кухне у Дженни не выходило, а комнатенки даже на окраине и в трущобах сдавались по несколько сотен долларов в месяц. Приходилось идти подрабатывать. Быстро перестраивая свои ожидания с ленинградского богомного быта на капиталистический рынок, один из таких художников решил расписывать фресками дворцы чикагской элиты. Затея эта, по его размышлению, сулила миллионы, которые, дай ему бог, он может и сыскал. Это мне уже неведомо. В нашей истории сей персонаж играет лишь роль случайного передаточного звена в социальной сети контактов среди соотечественников в Большом Чикаго. С возмущением узнав, что английское слово painter равно означает живописца и маляра, наш художник заявил, что он не ремесленник. Зато мне достался по случаю контактный телефон бригады более практичных литовцев, которые подрабатывали маляркой, хотя тоже, по-своему, мечтали о большем — стать подлинной строительной фирмой и заняться, как ныне выражаются по ново-русски, «девелопментом» старого жилья в элитное. С моими мечтами и моими деньгами, я им идеально подходил для опытов.

Литовские маляры оказались тройкой модно одетых молодых парней. Вели они себя очень рассудительно, говорили со знанием дела, и двое извинялись всякий раз, когда их третий, здоровенный белобрысый детина по имени Сигитас, примерно в каждом третьем слове матюкался по-русски. Известно, насколько заразительны просторечные выражения. Запас литовских фраз, которые мне предстояло перенять в последующие месяцы, будет блистать такими перлами от Сигитаса, как: «Вершутине, х.. як кувалдас — ир вискас лядас!» Если отвлечься от очевидного русского заимствования в середине фразы, ее начало и конец являют собой наглядную иллюстрацию древней балто-славянской общности языков. «Вершутине» явно восходит к общему корню верх, сверху; «вискас» обманчиво звучит как популярные консервы для кисок, а на самом деле — то же самое, что восточно-славянское «все», польское «вшистко», ну, а «ляд (ас)», очевидно, означает лед. Идиома «вискас лядас» у сила-

ча Сигитаса означала совершенно гладкий, как лед результат применения его коронного орудия — кувалды.

Я понял, что это наши люди, когда рассудительный двадцатилетний старшой этой тройцы с подкупающей честностью сознался, что они никогда еще не строили домов, но готовы попробовать за мои тридцать тысяч. (Остальное уже ушло на первый взнос и оформление покупки дома). Бригадир артели литовских шабашников по имени Эгидиус (или Гидеон по-английски) олицетворял собой типическое последствие восстановления литовской независимости. Он закончил среднюю школу как раз к моменту распада СССР, когда дотации прошлой эпохи закончились, и учеба в вильнюсском архитектурном институте вдруг оказалась не по карману. К тому времени, правда, литовцам стало легко получать визы для поездок на Запад, куда и устремился поток ищущей впечатлений и заработков молодежи. Так крепьш Сигитас, обладавший черным поясом тэквондо, едва не вступил во французский Иностраннный легион; его приятель Кястутас сбежал от матери, которая использовала его в качестве разнорабочего на все руки в своем приватизированном пансионате на берегу Балтийского моря; а Эгидиус, нелегально оставшийся в США, открыл собственное дело — фирму *Europe Style, Inc.* Несмотря на отсутствие разрешения на работу у «владельца» фирмы и ее не вполне грамматически верное название (должно бы стоять прилагательное *European*, а «Европа-стиль» — это типично постсоветская заявка на комфортабельность и космополитизм), Эгидиусу без лишних вопросов позволили зарегистрировать свой бизнес. Получить разрешение на работу для иностранца очень сложно, но открыть бизнес — в добрый час, никто в паспорт не заглянет. Америка — страна открытая для самоэксплуатации. Трудился основатель, владелец и подчас единственный работник *Europe Style, Inc.* полный световой день, с семи утра до семи вечера, потому что год для строителя в Америке делится на два сезона: летнюю запарку (если повезет с поиском клиентов) и неизбежный зимний простой.

Эгидиус казался типичным прибалтом. Этот флегматично-задумчивый и ужасно дотошный блондин, как и большинство литовцев, относился к польским конкурентам со снисходительной иронией. Вся тройка была одета в безупречно чистые белые малярные джинсы и футболки с логотипом их фирмы, нарочито контрастируя с неопрятным видом большинства польских подрядчиков.

Работа с Эгидиусом имела свое очарование. Однажды мы подготавливали основание крыши для укладки кровельной плитки. Эгидиус любезно предложил мне переделать один из слоев, потому что он отклонился почти на три дюйма при длине в двадцать футов. Кивнув с ухмылкой на крышу соседнего замка в стиле Диснейленда для банковских служащих (новехонький особняк из фальшивого кирпича, с башенками под тюдоровскую Англию и подъездной дорогой с электроподогревом), Эгидиус заметил: «Видел их крышу? Ради впечатления на покупателей, накидали натуральную кедровую дранку на чисто медный уголок, при этом кровельные ряды у них полезли во все стороны и стыки не сходятся. Материал на вид дороже некуда, но халтура полная». Говоря по правде, я не видел ничего ужасного. Однако пришлось согласиться, что Эгидиус не позволит мне положить ни одного ряда на мою собственную

крышу, не отмерив его по меньшей мере в пяти точках. На мой вопрос, откуда такие секреты мастерства в кровельном деле, Эгидиус спокойно ответил, что накануне вечером он дважды посмотрел учебную видеокассету о методах кладки кровли и еще полночи думал. Недавний ураган моя крыша выстояла весьма достойно.

Впрочем, монотонность работы иногда скрашивали дурашливыми шутками, вроде: «Эгидиус, как по-литовски сказать рубероид?» — «Отстань, профессор, сам ведь знаешь, что рубероидас». Или Эгидиус с Сигитасом переходили в контрнаступление: «Георгий, прости, ты все-таки какой национальности? Вроде бы, не совсем русский, но у вас там на Кавказе столько этих мелких республик...» На что приходилось парировать: «Вот именно, как у вас в Прибалтике. Я вот никак не возьму в толк, ребята, столица вашей Литвы — Рига или Таллинн?»

Я стал учеником Эгидиуса довольно случайно и далее рос в строительном мастерстве под его скептически-ироничным взором. Прежде всего, требовалось снести старую крышу с чердаком и «двумя верхними спальнями» из фанеры. В первую неделю, как мы рассчитывали, кому-то неквалифицированному придется разбирать и таскать строительный мусор, чтобы освободить более квалифицированных литовцев для творческой работы кувалдой. Уж если мне приходилось платить им по 12 долларов в час (что вдвое ниже зарплаты легального американского строителя, гарантированной профсоюзом, но все равно выходило по сто долларов в день), то мусор мог бы для разнообразия потаскать и я сам. По ходу дела выяснилось, что кузов большегрузного самосвала на 30 кубических ярдов наполняется старыми досками куда быстрее, чем могло показаться, а каждый заезд самосвала обходился нам в 420 долларов. Цены 1998 г. привожу для понимания масштаба — наша строительная смета таяла на глазах. Пришлось пойти на хитрость. Я за пару дней визга электропилой и вибрации в руках перепилил все старые балки и сложил за гаражом поленницу буквально выше крыши. Дрова пошли на ежедневные шашлыки и жечь их пришлось потом еще года три.

Затем выяснилось, что кто-то владеющий английским должен постоянно находиться на площадке, чтобы отражать наезды полиции, пожарных и строительных инспекторов. Как и многие жители Восточной Европы, я наивно полагал, что частная собственность при капитализме священна. Что хочу, то со своим домом и делаю! Полная распорядительная свобода оказалось идеологическим мифом. Не успел дожариться первый шашлык, как на нас, со всеми сиренами и мигалками, налетели полдюжины полисменов, следом за которыми в своих космического вида скафандрах топали пожарные. Взяли нас, что называется, тепленькими: и дом ломаем без разрешения властей, и самосвалы приглашаем без уплаты (о господи!) особой пошлины за проезд самосвалов по улицам, а жечь строительный мусор — вообще преступление. «Хотя, — добавил по уставу пожарный, — если только вы не занимаетесь приготовлением пищи на открытом огне, но для этого требуются доказательства в виде приспособления для готовки и самой, э-э, пищи». С готовностью ухватившись за этот спасательный круг, я указал на шампур с нанизанными на них ломтиками баранины, помидорами и баклажанами. С сомнением оглядывая мой сложенный из кирпичей здоровенный очаг, полисмен поин-

тересовался: «Сэр, а вы не могли бы жарить свой барбекю на газовом гриле?» Но меня уже несло предчувствие победы: «Господин офицер, на газе никак нельзя, этнические традиции не позволяют! Совсем не тот вкус». Кто в Америке сегодня открыто возразит против этнических традиций? Так я и продолжал день за днем работать ломиком и пилой, методично сжигать обрезки досок, непременно держа под рукой шампуры, мясо, кинзу и вино — и кормить всю бригаду шашлыками. Как там у Фернана Броделя про армянских купцов семнадцатого века? «Упрямые, трезвые, расчетливые, отважные и деятельные... они заслужили свой успех».

Однако полностью обойти американскую систему нельзя. В первый же визит, полиция и инспектора огородили нашу стройплощадку красной пластиковой лентой с бесконечно повторяющейся надписью «Не переступать». Оказалось, что нельзя прикасаться к своему дому без письменного и весьма недешевого разрешения от поселкового правления Вилмета. В СССР квартиры якобы принадлежали социалистическому государству, но оно было настолько занято своими заботами (скажем, идеологическим обликом населения), что с общественным жильем фактически поступали едва ли не как угодно. Моя московская соседка Наталья Ивановна заставила своего мужа выдвинуть входную дверь далеко на лестничную площадку и пробить отверстие в лифтовую шахту, чтобы поместить туда заднюю стенку холодильника и выпускную трубу сушилки. Так они расширили свою прихожую и наполнили лифт запахами сушившегося белья. В США куда строже — здесь нельзя менять даже кухонные шкафчики без формального разрешения, потому что они крепятся к стенам и таким образом по закону становятся частью конструкции здания. Причем бдительные соседи, в случае чего, непременно на вас донесут в полном соответствии с воспетой Максом Вебером протестантской этикой. А чего стоят уложения по сантехнике и электрике! Их замысловатость — очевидно преднамеренная — служит гарантией монополии соответствующих профсоюзов, вполне под стать средневековым гильдиям. Кроме того, в Чикаго, согласно местной специфике, высокодоходный профсоюз сантехников традиционно считался владением итальянской мафии.

Уроки черчения

Итак, следующие две недели прошли в отчаянных попытках получить разрешения на снос, вывоз мусора, подключение к электросети и общее строительство. Впрочем, вскоре на опыте выяснилось, что, как и в России, большинство американских бюрократов — в принципе неплохие люди со скучной рутинной работой. Прежде всего, инспектора хотели видеть моего архитектора и проектные чертежи для визирования. Конечно, ни того, ни другого у меня не было. Работали мы на глазок, что, признаю, было неправильно. Но ведь дипломированный американский архитектор просил по 500 долларов за каждую кальку! Я сел за компьютер и стал учиться чертить. Выходило не очень. Свои пожелания по планировке дома я еще как-то мог донести до Эгидиуса, но для инспектора это были явно тщетные попытки. И тут, с выражением торжества на лице, Эгидиус представил нового работника своей фирмы. Это был доброго и грустного вида человек по имени Иосиф Гутманович, только

что перебравшийся в США из Украины. Иосиф был архитектором Донецкого угольного комбината. Теперь на Эгидиуса, который лишь мечтал об архитектурном дипломе, работал настоящий архитектор, правда, в качестве маляра. Но, главное, Иосиф умел чертить по-старинному, без помощи компьютера. (Хрустящие графические кальки нашего дома и сейчас рядом со мной — есть в них красота толковой ручной работы.) Оставалось только обеспечить Гутмановича ватманом, кульманом, логарифмической линейкой, архитектурными карандашами и циркулями. Сколько роскошных слов! Интересно, кстати, как все это будет называться по-английски? В те времена я и по-русски бы не отличил стропила от стенового бруса. Разумеется, несмотря на языковые курсы при синагоге, Иосиф владел английским, не лучше чем я — искусством черчения. Так мы и лазали вдвоем вдоль книжных полок раздела строительной литературы в вилметтской публичной библиотеке, как парочка калек: один немой, другой криворукый.

Главное правило Иосифа было квинтэссенцией советского опыта: если руководство по использованию материалов рекомендует использовать, скажем, сосновый брус номер 10, всегда нужно брать с запасом номер 12 или 14, а еще лучше — стальной швеллер. Древесина может оказаться бракованной, рабочие — пьяными, поэтому всегда необходим запас прочности. Под суд ведь кто пойдет? Архитектор Гутманович.

Тем не менее, мой первый пробный визит в вилметтскую управу едва не закончился полным провалом. Инспектор скептически оглядел первый плод наших усилий и поставил жирный вопросительный знак на масштабе эскиза. Конечно, мы использовали метрическую шкалу. Ведь во всем мире, даже в соседней Канаде, давно уже перешли на метры и литры! Только в США продолжают пользоваться футами, галлонами, унциями и вовсе идиотскими градусами Фаренгейта, причем с истинно американской самоцентричностью именуют всю эту архаическую несурязицу «стандартной системой измерений». Хуже того, чертить и рассчитывать все приходится в не-десятичных дробях, которые называются простыми по недоразумению. Ну-ка, с ходу скажите, сколько будет $1/4$ плюс $8/32$? С тяжелым сердцем, я спросил инспектора: «Да я никак не возьму в толк, сколько дюймов в этом проклятом футе?» Удивленный такой наглостью, инспектор ответил: «Двенадцать. Двенадцать дюймов в футе, а три фута составляют один ярд».

На той неделе я как раз преподавал Месопотамию в курсе по анализу древних миросистем. Потрясенный вдруг открывшейся мне истиной, я пробормотал: «Господи, совсем как вавилоняне!». Когда один из инспекторов поинтересовался с некоторым подозрением смыслом моего странного высказывания, я все еще с досадой ответил: «Сэр, с вами все о 'кей. А вот ваша система мер...», и вкратце изложил о шестидесятеричной системе счета у ранних цивилизаций, где все было кратно шести и трем, откуда пошла неделя из шести дней плюс священный выходной, о еврейской каббалистической зачарованности вавилонской магией чисел, и почему мы до сих пор делим день на двенадцать часов и шестьдесят минут, а не на более удобные десять часов и сто минут. Стоявшая за спиной у инспектора специалистка по вводу данных (попросту говоря, секретарша) сделала большие глаза и сказала: «Да вы и в самом деле профессор!» Эта добрая женщина стала неоценимым союзником. Впоследствии

она клала мои чертежи и заявления на получение разрешений не на инспекторский стол, а на стул, где их никак нельзя было не заметить. Сам главный строительный инспектор, вздыхая, что он не обязан этого делать, вносил в наши чертежи поправки относительно типа используемых материалов. Кстати, вполне разумные, как с профессиональным уважением к коллеге признавал и сам Иосиф Гутманович.

Мы превращаем наш дом в развалины

Начиналась осень 1998 г. Ударила неожиданная беда — в доходном доме, где мы по-прежнему снимали квартиру, объявился новый пренеприятнейший хозяин. Его покойный отец, прежний хозяин, имел чудаковатые наклонности сродни Гобсеку. Старый миллионер жил в том же доходном доме и, не имея ничего подать ему воды и лекарства, нелепо умер в своей каморке под лестницей. Дом на 60 квартир был построен в 1966 г. и тогда обошелся в 1,2 млн долларов. К 1997 г. за тот же самый дом без всякого ремонта уже предлагали 16,5 млн. Но старик отказался удалиться от дел и доживать свой век в солнечной Флориде, где у него, говорят, было 50 акров апельсиновых плантаций. Он продолжал лично собирать квартплату с жильцов, надзирать за уборкой территории, и просто орать на детей, игравших во дворе, что, видимо, составляло смысл его существования. Теперь сын и наследник своего отца решил оставить адвокатскую практику и сделаться активным спекулянтом недвижимостью. Он взял банковскую ссуду на косметический ремонт дома с целью затем выставить его на рынок уже в «почти элитном» сегменте. Для этого кафель в ванных комнатах, при помощи словацких работников памятного пана Тадека, заменялся на мраморную плитку (самую дешевую, коричневую из Китая, по 2,5 доллара за квадратный фут — к тому времени я уже неплохо разбирался в стройматериалах). Старое ковровое покрытие менялось на такое же искусственное, только поновее, что, включая цену работы, обходилось почти втрое дешевле паркета или ламината. Главное же, двери из кухни в столовую забивались фанерой и прикрывались новыми шкафчиками и холодильниками. В результате образовывалась «модельная кухня» плюс дополнительная спальня на месте бывшей столовой. После такого ремонта месячная квартплата сразу вырастала с 850 до 1500 долларов. Труды бригады пана Тадека окупались в первые же пару месяцев, а дальше домовладелец накручивал чистую прибыль. Правда, для начала ему надо было выселить всех прежних жильцов.

Так я стал свидетелем микропоследствий макроэкономической политики председателя американского центробанка Алана Гринспена. Во второй половине девяностых годов, Гринспен спровоцировал и председательствовал над великим бумом операций с американскими активами, который подпитывался массовым притоком в США капитала, откачиваемого со всего мира. Признаю, мои 75 тысяч долларов, вырученные за квартиру в Москве, оказались крохотной капелькой в той гигантской финансовой воронке, которая в 1990-е годы, по подсчетам Боба Бреннера и Джованни Арриги, затыгивала в США почти 70 % всего инвестиционного капитала мира. В округе Вилметта цены на дома начиная с 1998 г. росли в среднем на 27 % каждый год. Нам повезло вдвоекратно: квартиру в Москве продали за полгода до дефолта августа 1998 г., а дом

в Вилметте купили в самом начале взлета цен. Вскоре нам и съемная квартира стала бы не по карману.

Впрочем, в самой беспардонной форме нас и так об этом уведомил новый хозяин, явившийся с полисменом, когда дома были одни дети. Ничуть не смутившись, более того, с удовольствием запугав ребенка повесткой в суд и выселением, недобрый дяденька еще и весело пригрозил напоследок: «Передай своему папе, что я — адвокат и судиться со мной бесполезно».

Мы столкнулись с сочетанием в одном лице двух из числа самых неприятных профессиональных типажей Америки: владельца доходного дома и адвоката. По данным социологии, ниже этих занятий по шкале антипатии стоят только агенты налоговой службы, которым приходится скрывать свое место службы от знакомых, а по степени недоверия — только продавцы подержанных автомобилей, которым по роду занятий полагается обладать жуликоватыми навыками прежних конокрадов и цыганских барышников. Достаточно поглядеть на владельца доходного дома в действии, чтобы оценить актуальность романов Бальзака. Большинство современных гобсеков владеет домами среднего размера и квартплату собирают непосредственно с жильцов. Их бизнес зависит напрямую от выжимания денег из не самых состоятельных людей, вынужденных ежемесячно платить за квартиру половину и более своего заработка. По договору (вот где регулирование рыночных отношений посредством закона и инспекций — воистину достижение), квартировладелец берет на себя ремонт дома и оплату отопления, ибо счетчик в каждой квартире не установишь. Соответственно, на этих статьях лендлорд постарается сэкономить. Так квартирный вопрос и при капитализме, хотя и по-своему, все равно портит людей.

Ну, а бесчисленное и пестрое племя адвокатов играет в американском обществе роль, аналогичную коррупции и мафии в постсоветской России. Адвокаты улаживают (но также и создают) всевозможные дела за немалую плату. Образ аморального стряпчего-хитрована — одна из устойчивых масок в голливудских фильмах. Иметь дело с адвокатами и судами, конечно, лучше, в сравнении с бандитами и чиновными мздоимцами. Но и только. Адвокаты, конечно, бывают разные, в том числе умные и порядочные. Однако им всем необходимо постоянно выжимать гонорары из клиентов — отчего, кстати, по оценкам самих адвокатов, их ремесло находится на одном из последних мест по степени профессионального удовлетворения. (Упомяну, поскольку это прозвучит контринтуитивно для отечественного уха, что на одном из первых мест по степени удовлетворения работой находятся инженеры. Их относительно мало в Америке, где физика и математика традиционно не в почете, и где добрая половина студентов после колледжа столь же традиционно идет в школы права и бизнеса — плодящие легионы излишних адвокатов и менеджеров, подобно тому, как советские вузы некогда плодили и обесценивали лишних инженеров. В силу относительного дефицита инженерных кадров, в Америке они получают вполне приличные зарплаты и при этом могут всю жизнь увлеченно возиться со своими инженерными конструкторами для взрослых).

Выручил мой завкафедрой Бен Нельсон, который не только знаменитый социолог адвокатуры и поля судебной власти, но и во всех отношениях очень

правильный мужик. Две жесткие и четкие фразы на легалистическом жаргоне, подсказанные Нельсоном, подействовали на нашего домовладельца, как крест на черта. Мы могли еще на месяц задержаться в немилый квартире даже без повышения ренты.

Тем временем, нужно было торопиться сделать дом минимально пригодным для жилья. Крышу, стены, трубы, электропроводку, все окна и двери сломали и поменяли меньше, чем за три месяца. Потом, конечно, ушло еще столько же времени на отделочные работы внутри дома, чем мы уже занимались в основном сами. И все-таки, на пике нашей перестройки в течение шести недель пришлось ютиться подобно беженцам в бетонном полуподвале под разбомбленным домом, побросав на холодный пол ковры и спальные мешки.

Для полного веселья, руины приходилось делить по-братски с четырьмя гостями — антропологом из Краснодара, приехавшим по Фулбрайтской стипендии, его женой и двумя детьми. С Игорем Кузнецовым мы ездили в экспедицию в межвоенную масхадовскую Чечню, где наблюдали воочию типажи вроде Салмана Радуева и Басаева. Самое страшноватое приключение, однако, выпало пережить уже на обратном пути при переходе через Черменский круг из Ингушетии в Осетию, где нас сцапал воронежский ОМОН. Подвели моя не самая славянская внешность и наличие в сумках всевозможной ичкерийской пропаганды. Спасла нас тогда в доску русская фамилия и внешность Игоря, его спокойное, насколько это возможно стоя лицом к стене под дулом автомата, объяснение научных целей сбора ичкерийских печатных и видеоматериалов, и, как водится, 50 тысяч рублей, чтоб омовцы в конце холодного зимнего дня могли согреться водкой. Под конец, оттаявший сержант даже помог лучше запрятать наши специфические научные материалы, предупредив, что дальше по дороге могут стоять совсем свирепые собровцы. Так что по приезду в Чикаго и речи не было, чтоб Игорь с семейством снимали квартиру на стороне. Но, конечно, я со своими грандиозными планами строительства обречен всех нас на испытания. К великому счастью, кузнецовская жена Рита, по рождению пополам грузинка и абхазка из-под Пицунды, обладала как опытом налаживания быта в беженской разлуке, так и золотым характером. Это нас всех и спасало.

Ибо аппетиты росли с каждым днем строительства. Если уж ломать, так под основание, чтоб потом сделать на совесть и на радость. Прибавляем три новые спальни на новом втором этаже, где потолок поднимаем выше стандартных восьми футов (248 см), до девяти футов. На новом этаже должна быть своя ванная комната, чтобы восемь человек с утра не выстраивались к умывальнику. Сделаем ванную чуть просторней, чем обычно, благо, место теперь есть. С глубокой ванной, в которой смогут плавать сразу двое детей с игрушками. Ванну я и так уже купил по сходной цене во время распродажи, так что куда-то нужно ее пристроить. В каждой спальне должны быть стенные шкафы или, лучше, целые кладовки, оборудованные остроумно придуманными вешалками и ящичками от не-американской ИКЕА. (Все-таки, как же тянет нас всех на европейское.) В большой хозяйской спальне сделаем даже два шкафа-кладовки. И три, нет, лучше пять световых люков на крыше — здесь, здесь и там. Чтоб было светлее и веселее зимой, а осенью прямо из теплой кровати или полноводной ванны с гидромассажем любоваться на скачущих белок и красно-желтые листья нашего клена.

Раздвижная стеклянная дверь на балкон должна быть широкой, девять футов, т. е. целых три ярда. (Надо же, как быстро я к этим футам привык.) Дверь ведет на балкон из негниющих томсоновских досок (цвет оставим натуральный древесный) шириной в десять футов и выступающий от задней стены дома на пять футов. Нет, можно сделать и на шесть футов, чтоб рукой касаться могучего ствола клена. (Более всего этот дизайн оценит наш рыжий кот Улисс, который таким образом будет ходить в набег на белок, кроликов и бурундуков, обитающих на заднем дворе. Правда, по дереву к нам, судя по следам, иногда вскарабкиваются разбойные еноты.) Шестидесяти квадратных футов балкона должно хватить, чтоб читать в шезлонге или пить чай под деревом. Но выдержит ли вес стена дома? По правилу Гутмановича, укрепим ее четырехдюймовыми опорами на оцинкованных болтах. Получилось пустое пространство на втором этаже вокруг лестничной клетки. Вокруг — три спальни и большой санузел. Слишком много дверей. Нужно создать какую-нибудь визуальную отвлекалку — может аквариум в углу высотой в шесть футов? Тогда на чем будет держаться этот вес? Сосновые межэтажные балки здесь придется не удвоить, а утроить. Раз не умеем инженерно рассчитать предельные нагрузки в фунтах на квадратные дюймы, то опять последуем правилу Гутмановича и дадим избыточный запас прочности. Здесь нам инспектор предлагает (сиречь, предлагает) дополнительную колонну посреди холла, чтобы связать и подпереть стропила для предотвращения в дальнейшем провисания потолка. Ну, и замечательно: может, нам удастся украсить колонну под световым люком, выходящим на лестницу, лианами и цветами? Хотя, нет. У кого-нибудь из детей непременно появится соблазн сбросить цветочный горшок на голову брату сверху по лестнице — создается слишком явная оборонительная позиция, а сыновей своих мы знаем... Так шла напряженная работа ума.

Другой важной причиной масштабной перестройки были, как всегда в истории человечества, собственные ошибки и недооценка подвижной непрочности структур. Помимо ошибок оценочного плана, надо возложить ответственность и на легкий доступ к кувалдам. Что, увы, регулярно случается и с политиками, впадающими в соблазн употребить какое-нибудь чудо-оружие. Нашим сыновьям тогда было восемь и девять лет. Из всех видов помощи взрослым, более всего они норовили завладеть молотками. Оставалось следить, чтоб по крайней мере надевали защитные очки и солдатские каски, приобретенные по каталогу армейского б/у. Молотками они орудовали с упоением — стук по стенке, и она рассыпается, только штукатурная пыль летит во все стороны! (Ну, и кому все это убирать?) Естественно, вскоре они проделали нешуточные дыры и в тех стенах первого этажа, которые мы разрушать не намеревались. Пришлось заменять старую штукатурку новым гипсокартоном. Потом, когда была снята старая крыша, а до новой оставался еще месяц плотницких работ, мы с Эгидиусом стали накрывать дом на ночь большущим брезентом от дождя. Как водится в нестабильном климате Североамериканского континента, проливной дождь налетел с ураганным ветром и градом. Тщетно карабкался я по голым скользким стропилам, пытаюсь занайтовать мокрый, хлопающий на ветру брезент наощупь в потемках, разрываемых ударами молний и грома. Наши надежды на временную крышу в буквальном смысле ветром дуло. Весь первый этаж залило, старая штукатурка промокла и отваливалась

с потолка влажными крошащимися кусками. Эх, вот и еще одна куча мусора на целый самосвал. Заодно отдеру и вонючее ковровое покрытие цвета авокадо. Под отвратным ковром, вот чудо, оказался старый добрый паркет из американского красного дуба, с которым от потопа практически ничего не сделалось! Умели же иногда строить в 1928 г., до наступления пластмассовой эпохи массового потребления.

Больше всего заслуживала кувалды «первородная» ванная семейства Снайдеров. Пять липких слоев линолеума на гнилом полу вокруг подтекавшего снизу унитаза, и фальшивая жестяная плитка на стенах, выкрашенная масляной краской в салатный цвет. Но сама потрескавшаяся от времени чугунная ванна была втиснута плотно, не подлезешь. Вот тогда Сигитас и присоветовал свое коронное «х.. як кувалдас». Размахнувшись в полную силу, я обрушил на снайдеровскую ванну свой всеокрушающий молот, подобно языческим богам-молотобойцам: скандинавскому Тору, армянскому Вагану, славянскому Перуну, балтскому Пяркунасу... Старая чугунка со звоном разлетелась на сноп острых тяжелых осколков, один из которых угодил мне пребольно прямо в лоб.

После трех недель тяжелого труда мы своими руками превратили наш дом в то, что я дотоле видел в Абхазии, Чечне и Карабахе — одни внешние стены, как будто бомба пробила крышу, вынесла окна и двери, оставив повсюду кучи пыльной штукатурки. И тут из неожиданно притормозившей машины вышла старая миссис Снайдер и попросила разрешения сфотографировать этот разгром. Я забормотал извинения за то, что мы сотворили с ее старым домом, который она так заботливо прибрала перед тем, как передать его нам. «Ничего, не волнуйтесь, — остановила она меня, со странным удовольствием на лице снимая на пленку эти руины, — я терпеть не могла этот дом и переехала обратно только из-за старого отца. Ничего хорошего в моей жизни не было, пока я жила в этом доме». Как я узнал от соседки, в этом доме Снайдеры потеряли ребенка — мальчик 14 лет катался на велосипеде... Тем больше причин принести больше света и воздуха в мрачные стены.

Но ломать оказалось страшно трудно. Фанерные перегородки крошились еще относительно легко, чего нельзя сказать о перемычках. Восьмидюймовые болты насмерть держались в штукатурке стальными «бабочками». За исключением бетонного фундамента, косяков и внешних кирпичных стен, пространство внутри было построено по-дилетантски и скромно, без всяких излишеств. Но чертовски прочно: с большим запасом износостойкости, по словам Иосифа. Все было усеяно невероятным количеством гвоздей, болтов и шурупов. А чего стоили стены толщиной в целый фут! Чтобы увеличить оконные проемы, мы с Эгидиусом попытались разрезать желтый силикатный кирпич специальной композитной пилой. Она сгорела за пару минут, оставив на поверхности лишь маленький надрез, а мы ослепли и задыхались от пыли. Тогда я вспомнил, что древние резали камень, поливая пилу водой. Это было опасно — наша пила была электрической, но мы предприняли кое-какие меры безопасности, и в конечном итоге вырезали в кирпиче большие оконные проемы. Внутри стен прежние хозяева для изоляции набили слюдяную крошку и старые газеты, так что в перерыве между разрушением окон и стен я мог присесть на кучу обломков, развернуть хрупкие страницы и почитать «Чикаго трибьюн»

за сентябрь 1931 года (кто там был чемпионом по бейсболу во времена Аль Капоне?) или июль 1945 года: последние бои с японцами. У археолога не возникло бы серьезных сложностей с датировкой этих развалин.

Должен признать, и мы работали на славу. Встаешь без всякого будильника перед рассветом, чтобы использовать каждую минуту светового дня, и занимаешься, по сути, игрой в конструктор для взрослых. Здорово, когда все идет хорошо и на дворе стоит теплое бабье лето. Через двенадцать часов такой работы хочется только кружку пива, бифштекс с картошкой и упасть в беспробудный сон. Любопытно, как меняются вкусы со сменой занятия. Мне совершенно не хотелось ни красного вина, ни французского сыра — обычного угощения на американских профессорских посиделках. Хабитус начал сдвигаться на глазах! В конечном итоге, я освоил основы плотницкого искусства, мог монтировать гипсокартон, навешивать двери (хотя малярного дела я так и не постиг — у меня всегда было плохо с размазыванием липких субстанций), а с остальным был знаком по крайней мере в теории. За полгода я привык носить толстые рабочие ботинки, которым не страшны гвозди, джинсы с петлей для молотка сбоку и широкий кожаный пояс плотника с множеством карманчиков. По мере усвоения опыта, сидело все это на мне более естественно и убедительно.

Однажды с верхотуры (новая крыша уже достигала верхушек деревьев) я увидел двух тщательно, если даже не чопорно одетых чернокожих женщин явно темнее местного афро-американского оттенка (практически все американские негры на самом деле мулаты смешаной расы). Чернокожие дамы аккуратно, чтоб не занозить руки, и с большим чувством собственного достоинства — но все-таки, на моем же дворе! — перебирали обрезки фанеры из «чистой» кучи, которая предназначалась для сожжения на сегодняшний шашлык. Я спустился на землю и вежливо их поприветствовал. Дамы оказались родом с Ямайки, и в прошлом обе были учительницами (кто бы усомнился), а теперь в Америке они стали домработницами, присматривающими за парализованной старушкой по соседству. Короче, обычная по нынешним временам история. У нас на факультете уборщица — бывшая учительница алгебры из польского Катовице. Развал государственных систем образования по всей мировой периферии обеспечил американскому среднему классу прекрасный выбор в меру интеллигентной прислуги. Ямайские дамы держались со мной запросто. Они попросили отпилить им несколько досок под книжные полки. Та, что казалась постарше, спросила, кто хозяин дома. Когда я признался, что дом принадлежит мне, она понимающе кивнула: «Так, вы — плотник и строите собственный дом. Понятно». Я пояснил, что действительно занимаюсь его строительством, но я не настоящий плотник и на самом деле работаю в местном университете. Она внимательно осмотрела мой внешний вид, сопоставила его с моими словами и, спустя какое-то время, сказала: «Вы хотите сказать, что вы никогда не были плотником, а на самом деле вы профессор? Тогда что у вас за акцент?» Признание, что я родом из Советского Союза, оказало удивительное воздействие. Заметно взволнованная, она повернулась к своей застенчивой спутнице и провозгласила: «Вот видишь, Глория, я тебе всегда говорила, что при социализме люди станут совершенно другие!» Вон как. А я-то думал, что мной овладела типично мелкобуржуазная обывательская страсть — самоэксплуатация...

В сущности, строительство дома близ Чикаго оказалось забавным и эффективным способом ознакомления с этническими стереотипами. Наша соседка, добрейшая бабулька Мильдегарда Мюллер, как-то похвалила меня за трудолюбие, как у заправского немца. На складе пиломатериалов два коренастых плотника — ассирийцы по национальности, братья, лет по пятьдесят — чуть не подрались, когда я попросил у них совета, как лучше сделать подпорки балкона. Один из них закричал на другого: «Саркис, заткнись! Я старше! И вообще, что ты советуешь армянскому брату? Ты так опозоришь всех ассирийцев!» На сегодняшний день в Чикаго, после Ирака, сложилась самая высокая плотность ассирийского населения в мире; здесь есть даже улица царя Саргона в этническом районе Девона. Но всех выходцев из бывшего СССР — армян, евреев, украинцев, узбеков, литовцев — местные жители называют русскими. По иронии судьбы, советская идеологическая заявка на слияние множества национальностей в невиданную историческую общность советского народа восторжествовала в диаспоре после падения самого СССР, по крайней мере на одно или два поколения.

Этническая общность — отнюдь не чисто культурное представление и не первородное чувство родства. Идентичность и самосознание — дела практические и ситуативно изменчивые. Проиллюстрирую это теоретическое положение двумя примерами.

Когда нам понадобился теплотехник, я достал список телефонов из русскоязычного телефонного справочника Большого Чикаго и оставил всем сообщения на автоответчике. Первым на каком-то навороченном ярко-малиновом «Джипе» приехал шикарный мужчина в замшевом пиджаке, походивший скорее на завсегдатя артистического кафе, нежели теплотехника. Звали его Семен и оказался он родом из Минска. Приобняв меня за плечи, он проворковал панибратским баритоном карточного шулера, перемежая свою речь английскими словами на эмигрантский манер: «Работы тут много, подсчитаем на компьютере эстимет (оценку стоимости) и факсанем тебе. Но, ты ж понимаешь, фернас (отопительный агрегат) у тебя чиповый (от cheap, дешевый). Хотя я ж по твоим глазам вижу, шо ты умный человек и уже все понял. Мы-таки будем иметь с тобой бизнес!»

Следом приехал в скромном рабочем фургончике еще один теплотехник по имени Семен, и тоже из Минска. Контраст с первым Семеном не мог быть более разительным. Неуверенно оглядев нашу стройку, он упорно отказывался сообщить нам цену за свою работу, обещая, что мы все узнаем по телефону от его тещи, которая руководит семейным бизнесом. Наконец, уже ближе к вечеру, когда мы усаживались вокруг костра на заднем дворе поесть шашлыка (кстати, газ в доме все равно был отключен), внутри разрушенного дома послышались чертыхания и скрип шагов по штукатурке. После некоторых поисков, в разбитом окне появился незнакомец, с удивлением обозревший наше пиршество. «Ну, вы что ли меня вызывали?» — спросил он.

— А вы сам, собственно, кто? — спросил в ответ вежливый и дотошный Эгидиус.

— Как кто? — удивился незнакомец. — Я теплотехник! Семен...»

— Из Минска?! — заорали мы с Сигитасом в голос.

— Ну да, из Минска, — пожал плечами гость.

Его удивление еще больше усилилось, когда он перезнакомился со всеми: «Ребята, сколько живу в Америке, но никогда не видел, чтоб собралось столько русских — и ни один из них не был евреем!» Обратите внимание, что слово «русский» в данном контексте явно означало выходцев из Российской империи или СССР. Дополнительную пикантность придавал тот факт, что мы совершенно искренне предложили гостю стакан вина и шампур шашлыка из *свинины*. Поглядев на угощение, Семен Минский третий сказал с сомнением: «Вообще-то, сегодня большой праздник, Йом Киппур... А-а, ладно, давно я шашлычка не ел. Отметим Йом Киппур интернационалистически!»

Второй пример связан с поиском сантехника — особо дорогая специальность. Еще в самом начале я приглашал сделать оценку стоимости работ местного вилметтского водопроводчика с забавным для его профессии именем Люк. Не выпуская жевательной резинки изо рта, он протянул с американским типично просторечным «ррыкающим» акцентом: «Э-э-э, тысячи три точно будет». Я оторопел. Речь пока шла только о том, чтобы продлить четыре трубы с первого этажа на второй, от силы три метра вверх по прямой. Водопроводчик Люк был, со своей стороны, озадачен моей непонятливостью: «Сэр, тут же на целый день работы!» Вот как — три тысячи долларов за день трудов не всякий адвокат может слупить.

Свой подход к водопроводной проблеме Эгидиус начал странным вопросом о моей национальности: «Георгий, можно, как ты думаешь, назвать тебя русским?» Я невольно улыбнулся: «Можно, причем учти, что бы там ни говорилось в Литве во времена «Саюдиса», что и ты сам, дорогой Эгидиус Липницкас, здесь в Чикаго — такой же русский, как и я». Но речь шла вовсе не о множественности и ситуативной пластичности идентичностей. Вопрос был, как сказал бы Чарльз Тилли, о сетях взаимоподдержки, т. е. сугубо рыночный. Эгидиус нашел вроде бы хорошего водопроводчика, который готов был взять с нас не очень дорого, но только при условии, что заказчиком будет русский. Звали водопроводчика Ильей Рудерманом, был он также из Минска (и, кстати, знал всех троих Семенов-теплотехников, которые некогда работали под его началом в стройтресте), и подозревать Рудермана в русском шовинизме, пожалуй, не стоило. Более того, сдается мне, что если бы заказчиком оказался «настоящий» этнический русский из белогвардейцев третьего поколения, Рудерман бы не рискнул с ним иметь дела. Одним из очень немногих наших эмигрантов, Рудерман сумел вступить в американский профсоюз водопроводчиков после пяти лет испытательного срока. Если бы в профсоюзе узнали о его внеурочной работе «налево», то Рудермана наверняка бы исключили. Поэтому он соглашался работать только на своего — русского, т. е. советского, который привык обходить углы и скорее всего не донесет. Этническая близость — это обусловленное общей культурой ожидание доверия, на котором строятся социальные сети взаимной поддержки, в сущности, способ снижения трения во взаимоотношениях между людьми: знакомыми, не очень знакомыми и вовсе незнакомыми, но все-таки способными быстро наладить взаимодействие. Безусловно, культурные ожидания взаимопомощи могут строиться и на иных видах общности. Так, на основе дополнительной общности проис-

хождения, мне досталась вовсе фантастическая скидка. При личном знакомстве водопроводчик Рудерман оказался интеллигентнейшего вида мужчиной лет пятидесяти, с чеховской бородкой и если не в пенсне, то в очень похожих небольших очках. Ей-богу, поставь нас рядом и спроси, кто тут профессор — однозначно, он. Осведомившись, правда ли, что я был в Союзе кандидатом наук, Рудерман заключил: «Ну, вам сделаем вообще за полцены. Я тоже был кандидатом наук».

В те дни моя собственная национальная идентичность подверглась неожиданному испытанию. Признаться, все то время, пока шла строительная эпопея, я числился регулярным преподавателем своего университета (по-английски все это зовется профессором, хотя ранг по относительной молодости моих лет был на самом деле ближе отечественному доценту). Дважды в неделю я спешно переодевался из плотницкого в интеллигентское и несся читать лекции и присутствовать на заседаниях кафедры, обоснованно надеясь, что в остальные дни меня не хватятся. Однако хватились, причем в самом деканате колледжа наук и искусств (главного подразделения университета). К нам прибывал сам президент многомиллиардной благотворительной корпорации Карнеги — и встречать его поручалось мне. Тому было две причины. Во-первых, наш ректор был в отъезде где-то в Калифорнии, собирая, как и положено ректору престижного частного университета, пожертвования с богачей Силиконовой долины. (За пять лет он так насобирал, между прочим, около полутора миллиардов долларов — ровно в объеме советской помощи Мозамбику.) Во-вторых, президент корпорации Карнеги был армянином по имени Вартан Григорян. Поэтому наш ректор с деканом остановили свой выбор на мне.

Правда, с Григоряном нас не связывало почти никакой общей культуры. Он — родом из иранского Табриза, я — из российского Краснодара. Более того, моя мама, как я уже упоминал, из кубанской станицы, а вырастившая меня бабушка Еля и подавно переживала, что в МГУ я считался иногородним: «Тю, шо воны, посказылися? А ты им, хлопчик, кажи, шо ни який ты не иногородний, бо твий дид Кондрат був козак Величковского куреня Кубанского вийска козацького». (По поводу попыток некоторых отечественных социологов определить, каков сегодня в Краснодарском крае процент «генетически казачьего населения», хотелось бы спросить, куда зачислять мою материнскую наследственность?) Но хуже того, армянский язык я знаю лишь в пределах первого курса Мичиганского университета, где когда-то посещал занятия знаменитого филолога Кеворка Бардакчяна. Это достопочтенный Вартан Григорян понял с первой же моей неумелой фразы, произнесенной при встрече в аэропорту. (Куда я, о ужас, вдобавок еще и опоздал минут на пять, потому что увлекся замесом бетона). Сгорая от стыда, я подвел знаменитого гостя к моей раздолбанной маленькой машине «Мицубиси». Не подавая виду, Вартан Григорян взгромоздился на тесном переднем сидении и, переходя на английский, попросил отвезти его в «Дрейк», самый роскошный отель на чикагской Великолепной миле. По дороге мы поговорили о моих исследованиях в Карабахе. Вдруг, окинув меня взглядом из-под густых бровей, господин Григорян спросил, отчего в волосах у меня капли застывшего цемента? Пришлось сознаться, что строю дом. Одобрительно кивнув, он осведомился, большой ли дом и будет ли в нем комната для гостей? Я невольно рассмеялся и ответил, что дома-то еще нет,

но четверо гостей с родины уже есть и пробудут до следующей весны. Совершенно неожиданно, Вартан Григорян протянул руку в массивном перстне и отечески потрепал меня по загривку: «Good boy!» До сих пор гадаю, сыграла ли похвала Григоряна какую-то роль в присуждении мне три года спустя Премии Карнеги за открытие новых перспектив в науке?

Да здравствует Интернационал домостроителей!

Для меня поистине многонациональным (или интернациональным, или мультикультурным, безразличным к цвету кожи — whatever) плавильным котлом стала субкультура домостроителей, проявившаяся в американской сети полупромышленных магазинов стройматериалов *Home Depot*. Случалось заезжать туда по три раза на день. Освоившись немного, осознаешь, что обстановка этого строительного базара походит на клуб. Со временем довелось перезнакомиться едва ли не со всем персоналом ближайшего от нас «Хоум Депо». Это преимущественно бывшие строители (причем многие из них — иммигранты, получившие американский вид на жительство), которые передвинулись немного вверх в профессиональной иерархии и обрели в магазине стабильный заработок с фиксированной продолжительности рабочего дня. И о том, и о другом обычные шабашники могут только мечтать. Начинаешь узнавать по крайней мере половину регулярных покупателей магазина. В свою очередь, всегдашними «Хоум Депо» делятся на мелких подрядчиков, которые сами себе создают рабочие места, и просто любителей, которые, как и ты сам, при помощи различных ухищрений и самоэксплуатации пытаются построить себе жилье при нехватке денег.

Покупатели *Home Depot* — это главным образом нижние слои среднего класса, которые на самом деле и составляют американский рабочий класс. В крупных городах, наподобие Чикаго, эта страта невероятно разнообразна в этническом и расовом отношении. Хотя она несомненно обладает общей классовой культурой, политизированное классовое сознание в ней отсутствует. Это класс в себе, а не для себя, нестабильный, но оттого очень живой и динамичный. Культура домостроителей перекрывает национальные, расовые и даже гендерные различия (да, в нее входят и женщины), создавая ощущение общности целей и бескорыстной групповой солидарности. Это, например, выражается в повсеместных дружеских шутках, профессиональных советах, как лучше решать ту или иную строительную проблему, где купить инструмент, или просто в готовности помочь. Вот парень из Ганы, просящий филиппинца или англо-американца помочь ему достать с верхних полок тяжелые упаковки стекловаты; а вон — чернокожий подрядчик-американец, советующий белой американке, какую дверь ей выбрать. А вон еще американец греческого происхождения, полчаса своего времени бескорыстно потративший, советуя мне, как установить ванну; или молоденькая кассирша-латиноамериканка, которая бегала со мной по всей парковке, помогая найти арендованный на два часа грузовичок, хотя это не входит в ее обязанности. Забавно видеть озорно подмигивающего араба, помогающего двум религиозным евреям в ермолках вывезти из магазина тяжело нагруженную тележку (я-то знаю, что он палестинец, а вот евреи, по всей видимости, нет). Примеры бесконечны. Это друже-

любие и участие, конечно, во многом обусловлено тем, что в этом рыночном пространстве отсутствует острая конкуренция. Любители по определению не могут быть конкурентами друг другу — все они работают где-то еще, на своих разных работах, кто почтальоном, кто профессором университета. Подрядчики же слишком рассеяны в крупном городе, чтобы сталкиваться друг с другом и со значительной конкуренцией в своем нижнем сегменте рынка, куда редко вторгаются крупные строительные фирмы. (Впрочем, мои наблюдения относятся к фазе подъема в экономическом цикле).

К тому же, стройиндустрия делится на этнически специализированные секторы, что также способствует уменьшению конкуренции. Такая специализация, по-видимому, возникает более или менее случайно, а затем со временем институционализируется в механизмах миграционной цепочки. К примеру, практически все вновь прибывшие из Румынии занимаются настилкой полов и малярным делом, переняв эстафету у тех, кто прибыли сюда раньше. Или вспомним трех Семенов из Минска, которые оказались в Чикаго потому, что сюда уже приехало довольно много советских евреев из Белоруссии, в том числе их знакомых, так что дорожка была протоптана.

Подрядчики советского происхождения обязательно встречаются вечером по средам в определенном ресторанчике на севере Чикаго. Для отдыха — выходные, а эти встречи — работа. Там по средам, конечно, много пьют, но, главное, на этой неформальной бирже обмениваются информацией и клиентами, находят субподрядчиков на какие-то специфические виды работы. Итальянцы и ирландцы, как исторически более старые и лучше организованные общины иммигрантов, укрепили свои позиции в более высокооплачиваемых сантехнических работах, тогда как поляки работают преимущественно нелегально и вне профсоюза. Индийские сикхи занимаются, по традиции, механикой. Белые американцы и некоторые афроамериканцы пользуются двойным преимуществом — полноправного гражданства и возможности получить субсидированное профессиональное обучение, зачастую благодаря службе в армии. Они со временем занимают руководящие должности или же специализируются на более доходной облицовке плиткой, кирпичной кладке и электричестве. Бывшие крестьяне-индейцы из Центральной Америки, напротив, занимаются уборкой улиц, то есть косят траву и убирают листву, либо кровельными и другими малоквалифицированными работами, хотя зачастую над ними стоят белые американцы.

Отношения неравенства, конечно, возникают по той простой причине, что прибывшие раньше старожилы считают себя вправе и в самом деле знают подходы, чтобы занимать лучшие позиции на строительном рынке, нежели вновь прибывающие иммигранты, которым еще только предстоит узнать, почем фунт американского лиха. Но эти отношения имеют свою динамику, поскольку все, в конечном итоге, становятся старожилыми, и крошечные новые «фирмы» регулярно отпочковываются от старых. Еще одна причина внутренней эгалитарности или патерналистского духа в строительных бригадах, по крайней мере в секторе самостоятельного мелкого домостроительства, заключается в том, что, как правило, в них отсутствуют формальные механизмы трудовой дисциплины и исполнения правил. Единодушие достигается благодаря консенсусу и авторитету действующего лидера, главы артели, который

постоянно должен подтверждать свой статус, создавая новые рабочие места или сам работая больше и лучше других. (Между прочим, по моим наблюдениям, многие партизанские группы на ранних этапах карабахской и чеченской войн сложились на основе уже имевшегося опыта самоорганизации и по давно знакомой модели бригады шабашников. Вероятно, та же модель переноса трудовой мигрантской солидарности в военные действия имела место в бывшей Югославии, где многие мужчины ездили работать в Германию).

Социальная среда, сформировавшаяся вокруг рынка ремесленных навыков, поденщины и просто любительства, укладно основывается на мелком товарном производстве или даже зачастую на нетоварном домашнем воспроизводстве и взаимопомощи. Этот плодородный нижний слой микроструктур повседневности остается достаточно закрытым и самостоятельным от структур капитализма даже в современной Америке, хотя, конечно, капиталистические институты пускают сюда свои корни посредством кредита или сбыта промышленно произведенных стройматериалов. В Америке рубежа XX и XXI веков по-прежнему мы обнаруживаем живую иллюстрацию к рассуждениям Фернана Броделя о том, что капитализм существует только на самых высоких ступенях обмена, где прибыль достаточно высока, а давление конкуренции может в значительной степени сдерживаться путем использования политической или экономической власти. Наряду с верхними этажами капитализма, рядом с его корпоративными небоскребами, продолжает существовать одноэтажная Америка кустарного и семейного производства. И эта другая Америка — такая же настоящая, как ни удивительно это прозвучит (но это удивительно только с точки зрения общепринятой сегодня идеологии).

Владельцы *Home Depot*, судя по недавно опубликованным мемуарам двух его основателей, прекрасно осведомлены о таком взаимодействии верхних этажей капитализма и материальных структур повседневности. На их счет следует отнести новаторское и систематическое приложение простых на вид принципов, которые позволили гигантской корпорации вырасти за короткое время над этой некапиталистической стихией. Вот лишь некоторые из них: сознательное сохранение оживленного и несколько хаотичного облика магазинов, напоминающего производственное помещение, склад или стройплощадку, а не сияющий универсам; наем бывших подрядчиков на должности продавцов и управляющих; разрешение почти неограниченного возврата материалов и инструментов, которые остались неиспользованными или оказались неподходящими (согласно лозунгу: «Пробуйте, не стесняйтесь — вы всегда можете вернуть товар»); ослабление и сокрытие бюрократического управления; возможность поторговаться, как на настоящем базаре, о цене остаточных материалов: «Скажите нам, что вы можете себе позволить, и мы посмотрим, сможем ли мы вам это продать». Менеджеры нижнего звена могут принимать решения о ценах в зависимости от изменчивой ситуации, чего как раз и недоставало в советском планировании и советской армии. Таковы, в принципе, самые стандартные методы управления, позволяющие создать круг преданных покупателей и избежать закупорок при прохождении товаров через магазин. Но методы весьма действенны. Например, именно так я получил свою слегка побитую и потрескавшуюся снизу входную дверь из полированного дуба за треть от первоначальной цены (а какой богач купит брак и нели-

квид?), плюс совет, как прикрыть трещины медной пластиной. Или другой элементарный метод — давать гарантии самой низкой цены на рынке и даже предлагать цену на десять процентов ниже, чем у любых конкурентов. Так с большой скидкой я купил испанскую плитку для ванной и гранит для кухни. Парень, который помогал мне ее погрузить, сам оказался мастером-плиточником. Еще добрых полдня он провел, щедро передавая мне опыт в подборе инструментов, растворов и методах укладывания плитки. Оказалось, этот американец служил в морской пехоте и когда-то воевал во Вьетнаме. Бывшего советского противника он обучал из той удивительной солидарности, что возникает во время братания на фронте.

Все это обычно упускается из виду, когда говорят и пишут об американском обществе. Привычное восприятие американцев — белый средний класс. Он в самом деле крайне предсказуемый, однородный, одномерный и какой-то стерильный, как еда в Макдональдсе. Эта страта действительно целиком является продуктом капитализма — эффективным, специализированным, функциональным. Разделение труда делает их одномерными (люди, безусловно, различаются между собой на уровне личной психологии и опыта, но существование тенденции неоспоримо). Люди, слишком тесно связанные с рутинным выполнением узкоспециализированных задач, неизбежно становятся скучными одинаковыми винтиками, даже если они зарабатывают при этом на «Лексусы» и отпуск на Гавайях. Верхушка среднего класса в США может позволить себе не знать о том, что находится под капотом ее автомобилей, как полировать полы или как организовать себе хороший отпуск на природе без особых затрат — они могут нанять специалистов по всем этим вопросам. Принцип наименьшего сопротивления гласит, что если вам проще нанять работника, чем освоить новый навык, нужно его нанять и подумать о том, как в следующий раз заработать больше денег для другого такого случая. Однако, существует и другая Америка, возможно, много других Америк. Может быть, существует даже некапиталистическая Америка.

Итак, наш дом построен. Вышел он немного роскошным — мрамор, гранит, испанская плитка, световые люки, балкон, двери из мореного дуба, такие же подоконники, карнизы. Я знаю в нем наперечет почти каждый гвоздик. Остается починить старинный вычурный деревянный козырек над главным входом — но в нем белки вывели детенышей, так что пришлось нам пока отступить перед дикой природой. Потребовались дополнительные усилия, чтобы скрыть наши просчеты. Во время стройки я нередко парковал грузовой фургон на лужайке перед домом и вообще отвратительно обращался с ней. Лужайка загнулась, но вместо травы Люба разбила на ней клумбу с замысловатыми кустарниками и цветами. Конечно, мы стали отличаться от остальных домов на нашей улице, но вскоре цветы начали появляться и перед ними.

И, наконец, флагшток размером с мачту крейсера. Из-за него возникли очередные проблемы с идентичностью. Звездно-полосатый флаг мы торжественно спустили в первый же день. Однако чем его заменить? Старый советский флаг, конечно, выглядел по-своему экономно и красиво, но лучше обойтись без него. Вывесить новый / старый российский? Нет, к сожалению, слишком по-ельцински. Или знамя кубанских казаков? Я бы с радостью, если бы впечат-

ление так не испортила одиозность нашего неказачества. Друзья из Еревана весело предложили в подарок флаг Нагорного Карабаха, чтобы я мог провозгласить свой двор исторически армянской территорией, чему, конечно, мы бы тут же отыскивали массу историко-культурных доводов, и на этом основании перестали платить американские налоги. Но тогда нам пришлось бы выживать в условиях блокады, подобно самому Карабаху. Решение возникло, как и в большинстве политических тупиков, само собой. Мой младший сын Степа, как оказалось, экспроприировал, или попросту стибрил московский флаг с фонарного столба на Кутузовском проспекте во время пышного празднования 850-й годовщины города. Лужков, надеюсь, на Степу не осерчал. С того времени флаг лежал в кармашке Степиного рюкзака. Флаг-то действительно хорош собой: красное поле, а в центре — Св. Георгий, поражающий копьём змия. Своих змеев мы пока одолели. Так и завершилась наша домостроительная эпопея водружением флага Московии. Теперь над Вилметтом реет единственный в округе алый стяг с Георгием Победоносцем.

Сами увидите, когда будете в наших краях.